Амо Сагиян

Народ

Мать пеленала меня в облака,
Горы носили меня на руках,
Окрестили, выбрали имя,
Но не моим были — твоими.
Дом я свой основал в горах —
Спал и ел на твоих камнях.
Дом сложил — в нем песню сложил,
Себя в основанье ее заложил,
Доволен был складом и ладом своим,
Твоим был алфавит и слово — твоим.
И лиру держал я, но струны на ней
Натянуты были рукой не моей.
Моим был хлеб — твоей была соль.
Моим было сердце — твоей была боль.
Что я! — Дыханье мотылька...
Ты вечностью создана и — на века.
И гений твой на века создавал.
Твой гений творил. Я исполнял.

Перевела с армянского
А. МАРЧЕНКО.

Нормурад Нарзуллаев

У фонтана в Ташкенте

Кипит сияющий поток
Воды, встающей вертикально,—
Родного города цветок,
Громада свежести хрустальной,

Переливается в ночах
Красавиц яркими шелками,
В его мерцающих струях
Трепещут звезды и тюльпаны.

Он сказок полон
Или снов!!
Он на заре взметнется рано
То вихрем белых лепестков,
То белым золотом хирмана [1].

Стою в сиянии лучей,
И кажется очам влюбленным,
Что он трепещет озаренно,
Как сердце Родины моей!

Перевел с узбекского
А. ПЕРЕДРЕЕВ.

[1] Хирман — место, куда складывают убранный с полей хлопок.

Олафс Гутманис

Дорога ленинской «Искры» в Курземе

Спешил, спешил в санях глубоким снегом,
Сквозь строй чудес в заснеженных холмах,
Сквозь долгий-долгий сон под зимним небом
На медленных крестьянских лошадях.
Земля промерзла, мокрые поленья
Дымят-дымят в убогих очагах,
И смутно ищет выхода прозренье,
Сквозь едкий дым и слезы на глазах.
Метели муть, гнилой туман болота
В дырявых лапоточках обойти...
Стучи, стучи, но заперты ворота,
И вековые страхи на пути.
Но есть слова—такое только снится,—
Они горят, как первые костры,
Они пылают в сердце у возницы—
Предвестники невиданной поры.
Лег санный путь, как полоса прибоя,
Сквозь цепь холмов к бессмертному огню,
И верил тот, кто «Искру» вез в собою,—
Огонь растопит снежную броню.

Перевела с латышского
О. ЧУГАЙ.

Фариза Унгарсынова

Величие

Я с Востока, где помнит горячая степь,
как встречали мечами незваных гостей,
жарких битв не считали, но только одна
будет памятна людям во все времена.
Как соперничал с алой зарею кумач!
Как весну выпевал конармейский трубач!
Это было началом, и память о нем
да пребудет навечно в народе моем.
От пожарищ былых не осталось следа,
по степи, словно маки, цветут города,
мы окрепли, мужая в труде и борьбе,
добывая нелегкое счастье себе.
Я из юрты. Оттуда дорога легла,
и на этом пути нет свершеньям числа.
Наши судьбы едины с судьбою страны,
наши помыслы ей до конца отданы!
Дай мне руку, товарищ! Таджик, белорус,
украинец, грузин,— пусть наш гордый союз
воссияет соцветьями в песне весны,
потому что мы дети великой страны!

Перевел с казахского
П. КОШЕЛЬ.





ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕРЕКЛИЧКА...

Анкета «Юности»

В канун 60-летия Октября редакция нашего журнала обратилась к ряду советских писателей с просьбой принять участие в творческой перекличке, выражающей идею эстафеты поколений художников, вступавших в литературу в разные периоды послеоктябрьской эпохи.

Были предложены следующие вопросы:

1. Какие проблемы жизни и искусства стояли перед Вами в годы Вашего дебюта? Кого Вы считали своим учителем в литературе и кто из ровесников был Вам творчески близок?

2. Какие качества, олицетворяющие духовный опыт пройденных нашей страной лет, видите Вы в современной молодой литературе?

Мы попросили также прислать и фотографию, относящуюся ко времени литературного дебюта.

В этом номере начинаем публикацию полученных ответов.

Николай Тихонов

1. Моим дебютом, собственно, был выход двух первых книг стихов, сборников «Орда» и «Брага». Когда я говорю, что меня как поэта родила Великая Октябрьская революция,— это правильно, потому что до нее я жил в безвыходном хаосе самых различных поэтических устремлений, но над всеми помыслами господствовало ожидание чего-то грандиозного, что изменит всю жизнь и даст оправдание всему, что происходит.

И я вступил в революцию, которая разметала весь старый уклад жизни, извергла все темные силы, боровшиеся с ней, и указала верную дорогу. В первый же год Октября я написал книгу стихов (из нее позже я публиковал отдельные стихи) под названием «Перекресток утопий». И когда меня спрашивали, почему я так назвал ее, я пояснял: «Сегодня мы видим, как встречаются утопии прошлых веков — мечтателей-бунтарей — с утопиями, которые воплощаются в жизнь». И мне было ясно, что великий поединок должен принести победу. Я писал тогда: «Иль новый день в невиданном сияньи, иль новая невиданная ночь».

Октябрь победил, и это была всемирно-историческая победа. Ощущение этого мира и его героя — победившего пролетариата — сделалось ощущением и содержанием моих стихов. Характерными произведениями, в которых разрешались проблемы жизни и искусства, стали у меня «Баллады» и маленькая поэма «Сами» про индусского мальчика и великого Ленина.

Я не могу назвать определенного учителя, которого бы считал своим наставником. Я с юности любил стихи многих поэтов, но выше всех ставил Пушкина и Лермонтова. Мне нравились стихи Бунина выразительностью, четкостью и какой-то особенной сдержанностью. Из современников, за стихами которых я следил постоянно, привлекали мое внимание Александр Блок и Владимир Маяковский. Но Блок мне нравился не первых лет его появления, а значительно более поздний.

Творчески близок мне был природой своего стиха Багрицкий.

2. За шестьдесят лет, что прошли со дня Октябрьской революции, сменилось несколько литературных поколений. И существенно изменилось лицо советской литературы. Большое развитие получила поэзия и проза наших братских республик. Там, где раньше не было прозы, сейчас мы имеем книги талантливых и даже выдающихся прозаиков.

Этих молодых литераторов роднит с их предшественниками основное желание быть участниками

происходящего непрерывно процесса преобразования страны и человека, верность коммунистическим законам развития общества.

На страницах книг и в стихах мы находим литературных героев, которые первыми ни в какой литературе мира, кроме советской, не могли появиться. Это характеры, дела и чувства советских людей со всеми их особенностями. Советский человек предстает как борец за свободу, энтузиаст, строитель нового, разведчик будущего, смелый, веселый, шумный, не боящийся даже смерти.

Советская литература сегодня говорит о любви, о счастье, о доблести, о славе, о молодости людей, она зовет из мира убогой фантазии, из тупика эгоистических переживаний в широкий мир, открытый действительно смелым и добрым людям, ничего не боящимся, в мир, где нет ложной морали, гнета общества, провозгласившего своим кумиром деньги и власть.

И наши молодые таланты непрерывно пополняются, так как в ряды писателей и поэтов всех народов нашей социалистической Родины входят новые литераторы из народа, обогащенные опытом жизни, опытом колоссального творчества, создающего будущее социалистического общенародного государства.

Георгий Марков



1. Прежде всего существенная подробность: я шел в литературу через селькорство и непосредственное участие в общественной жизни. Первая моя печатная «работа» называлась «Волки одолели». Это была заметка в газете «Томский крестьянин», где рассказывалось, что в Вороно-Пашенской волости Томской губернии развелось много волков, стаи гуляют по полям, губят скот, а власти никаких мер не принимают. Заметка опиралась на подлинный факт — уничтожение овец на полях, где я был подпаском (мне шел тогда четырнадцатый год). Хозяева избили пастуха, меня лишь грубо обругали — побаивались, видимо, моего отца, который был охотником, умел постоять за себя и за справедливость. После этой публикации была организована облава на волков силами трех деревень. И я воочию увидел силу печатного слова.

Я рано стал комсомольцем — в марте 1924 года, неполных четырнадцати лет. Любил участвовать в сходках, собраниях, старался отражать комсомольскую жизнь в местной и краевой печати («Томский крестьянин», «Красное знамя», «Путь молодежи»). Селькорство сблизило меня с журналистикой и литературой. В 1931 году я выпустил первую книжку, которую, кстати, мне недавно бережно преподнесли читатели во время дней советской литературы в Кузбассе. Это тонкая брошюрка — «Комсомольские резервы — большому Кузбассу». Будучи комсомольским работником, так или иначе связанным с печатным словом, я рассматривал в этой брошюре задачи комсомола и молодежи на строительстве Уралокузнецкого промышленного комплекса. Сферой, которая окружала меня, владела мной, была общественная жизнь, борьба за выполнение задач, которые решались тогда народом и партией.

Я считаю, что печатное слово должно служить жизни, людям, и другого представления у меня не существует. Так складывалась и моя собственная причастность к литературе, о которой я мечтал смолоду.

С первых моих шагов — и читательских и писательских — самым покоряющим для меня именем было, да и осталось, имя Льва Николаевича Толстого — воплощение глубины и силы художественного слова.

Я очень любил Горького, рассказы которого вслух «исполнял» как чтец в избе-читальне. И одновременно я любил Шишкова. Любил — и спорил с ним. Сибирская деревня мне виделась несколько иначе, у меня был другой опыт, я вырос в семье охотника, чей уровень был несколько выше крестьянского. Отец был начитан, интересовался многим, дружил с политическими ссыльными — недаром он стал первым председателем коммуны в губернии. Я тоже старался не отставать в чтении, и мне везло: я был общественным распространителем печати, а в ту пору за распространение десяти журналов, скажем, «Журнала крестьянской молодежи», одиннадцатый экземпляр тебе предоставлялся бесплатно... Я был, так сказать, в курсе многих новинок.

2. Став писателем и приобретя опыт, я считал долгом в меру своих возможностей помогать другим молодым литераторам. Тут много имен, теперь известных, менее известных и вовсе не известных. Большое удовлетворение приносила мне и приносит работа на семинарах во время всесоюзных совещаний молодых писателей, братское сотрудничество с представителями литератур наших республик. Знакомство зачастую переходит в творческую дружбу — не могу не назвать хотя бы Юсуфа Акабирова, Семена Курилова...

Высоко ценю молодое поколение писателей и особенно последнюю генерацию, вижу, как она живет страстью овладения творческим профессионализмом. Это литература высокого класса по мастерству, ни одно поколение литераторов такими чертами не обладало. Главным же в творчестве молодых, как и прежде, остается современная жизнь, наш человек, диалектика его развития, становления — в этом живая связь поколений писателей. Но хотелось бы видеть у молодых писателей больше достоверности в ощущении социального типа. Мастерство порой прикрывает некоторые слабости. Настоящая художественная достоверность добывается нелегко. Нередко поэтому возникает соблазн подменить ее условностью, сомнительной деловой основой, приблизительностью трактовки. Все это, правда, уходит по мере того, как все глубже познается жизнь. Успех писателя лежит лишь на соединении с жизнью. Иных путей не вижу.



Микола Бажан

Понять, ощутить, пережить то огромное, бурное, так часто суровое, так часто человечное и удивительное, что окружало меня, двенадцатилетнего хлопчика, шестьдесят лет тому назад в тихом, пыльном, степном городке Украины, в Умани, где началась моя юность, где начал писать свои первые стихи,— о, это было очень не просто для формировавшегося тогда моего сознания, для моих стремлений, мечтаний, раздумий о дальнейшем пути!

Кооперативный техникум, давший мне звание бухгалтера-ревизора, открывал путь в кооперативный институт. Но этот путь не манил. Среди тогдашних кооператоров признавалась лишь та поэзия, которую можно было умиленно петь под гитару в уютной тишине собственной, пусть и маленькой, хаты.

А вокруг гремели грозы гражданской войны, навстречу одна за другой мчались лавины красных, белых, желто-голубых, зеленых всадников, по крышам уманских домиков щедро рассыпалась шрапнель.

В городке за одно лето раз пятнадцать менялась власть, и пожарник Данило карабкался на каланчу менять флаги, пока там, сверкая и пылая, не водрузился твердо и уверенно красный флаг. В последний раз его очень хотели сорвать бело-польские и петлюровские вояки, но не дошли несколько десятков верст до уманской каланчи. Их погнали назад стремительные полки конной армии Буденного.

Я видел Буденного и Калинина на митинге в уманском сквере. Митинги были страстные. Они волновали, зажигали, будили в сердцах решительность идти только с этими людьми по их пути.

На одном из собраний учеников уманских школ выступил молодой, красивый, темпераментный зав. уездным наробразом. Он читал свои украинские стихи. Это был Евгений Григорук. Он потом стал в Москве председателем государственного издательства. Он был первый поэт, которого я увидел и услышал.

Я поражался и завидовал ему. Писать бы стихи, похожие на его,— то четкие, резкие, громкие, как речь оратора, то нежные, волнистые, светлые, как переливы песни.

И вдруг мне в руки попались две книги — в них и звучали голоса, казалось бы, вовсе не схожие, даже противоположные, однако закономерно слившиеся в единстве музыки революции. Книга Тычины «Солнечные кларнеты» захватила своей мелодией, музыкальностью, тонкой проникновенностью. А вслед за ней я раскрыл удивительную книгу, изданную без фамилии автора, молниями строчек гремевшую, грозившую, вещавшую о могуществе 150 миллионов. Она ошеломила меня вихрем небывалых образов, ритмов, диссонансов. И все же она была музыкой. Музыкой великой — странно, что понял это я вопреки всему тому, что дотоле считал поэзией.

Тычина и Маяковский. Они противоборствовали, но сопрягались в одной, какой-то поразительной, неслыханной гармонии. Я не понимал тогда, что это и было гармонией диалектического развития новой советской поэзии, художественный размах которой открывал невиданные творческие просторы. Между ее полюсами можно было метаться в поисках и стремлениях, иногда весьма претенциозных (что я и делал некоторое время).

Потом пришло более глубокое и спокойное восприятие, претворение в себе стиха Тычины и стиха Маяковского.

Вот кого я и должен назвать своими первыми советскими учителями в поэзии.

Я пережил зрелость, я вошел в старость, пытаясь жить жизнью, открытой для поэзии всего мира, но прежде всего для поэзии моей Родины, для поэзии братских народов. Как богата, неисчислима, всечеловечески значима и прекрасна она! Не перечесть ее ценностей — и горько, что не успевал и вряд ли успею достойно нарадоваться ими.

В своем понимании наследия и современной поэзии не могу претендовать на полную справедливость и объективность. Не могу понять, почему и до сих пор, например, так несуразны и глупы бывают тексты наших «шлягеров», потрафляющих вкусам неомещанства, почему так часто квазинародные романсы зачисляются в образцы истинно народной песенности, почему рассудочные измышления и кривлянья выдаются за поиски и находки, почему нам, поэтам, прощается, когда мы вялыми, бездейственными резонерскими стихами принижаем самые высокие и примораживаем самые горячие темы современности.

Без борьбы против такой лишенной или лишившейся выразительности и действенности поэтической продукции никогда в истории литературы, к счастью, не обходилось,— пусть и сейчас, к еще большему счастью, не обходится.

В обществе, где создаются все условия для полного, всестороннего развития личности, кто-кто, но уж поэт не имеет права на безликость. Плохо, когда читатель, а еще хуже, когда и критик, пугается необычного, непривычного. Надо преодолевать боязливость критики и нерешительность поэтов в исканин действительно эффективных, не амортизированных, не деградированных средств и форм для выражения поистине новых для истории человечества, а значит, и для поэзии, чувств и мыслей человека эпохи зрелого социализма, человека, обогащенного героическим и прекрасным, трудным и ободряющим, суровым и радостным опытом шестидесятилетнего великого, всемирного подвига наших народов.

Искать, дерзать, не удовлетворяться сделанным. Не отставать, идти в ногу с авангардом. Заботиться о молодых талантах, ибо в них и твое будущее, даже тогда, когда ты уже переступишь положенный людям предел.

Не стареть душой, не стареть душой... Впрочем, это я самому себе...

Алексей Сурков



1. Если считать литературным дебютом время опубликования первых стихов, то это будет 1918 год, когда около двух десятков моих стихотворений появилось в петроградской «Красной газете» (между февралем и ноябрем — временем моего ухода на фронт).

Эта дата сама подсказывает, что главной проблемой моей жизни в те дни была проблема только что совершенной Великой Октябрьской социалистической революции, ее утверждения в народной жизни, защиты ее завоеваний от множества врагов и ненавистников.

Этим двум задачам было посвящено содержание моих тогдашних художественно весьма несовершенных, но честных и искренних стихотворений. Решению этих задач была посвящена и вся моя человеческая судьба, и все то, что я писал и пишу.

Я начал свою литературную жизнь с очень бедным духовным и культурным багажом (сельская школа, оконченная в 1911 г.), но с довольно богатым жизненным, трудовым и политическим опытом. И, как у всякого самоучки, камертоном первых лирических опытов были стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, навсегда запавшие в память с детских школьных лет.

В первом, подражательном периоде своего стихотворчества я отдал дань духовно мне наиболее близким современникам — Демьяну Бедному, поэтам «Кузницы» и Пролеткульта и, после первого знакомства со стихами Владимира Маяковского, этому громкоголосому трибуну революции. На стихах, которые я писал в середине двадцатых годов и которые вошли в мою первую книжку «Запев», можно заметить следы моей начитанности и увлеченности «Ордой» и «Брагой» Николая Тихонова.

Из моих современников и сверстников люблю великолепные басни Демьяна Бедного, его «Главную улицу». Благодарно люблю как прекрасного поэта и чудесного человека Николая Тихонова. Всегда волновали и волнуют меня стихи Михаила Светлова, многие сильные стихи Михаила Голодного, замечательная поэма рано ушедшего из жизни Николая Дементьева «Мать». Духовно и творчески близко мне творчество моего многолетнего друга Михаила Исаковского. Чувствую, понимаю и принимаю душой Маяковского, и по сей день «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи». Люблю стихи и поэмы Багрицкого, свидетелем духовного возмужания которого мне выпало счастье быть.

2. На второй вопрос отвечать очень трудно, ибо это тема серьезнейшей докторской диссертации.

Мне кажется огромным достоинством нашей литературы то, что она, пройдя сквозь огненную купель Великой Отечественной войны, обогатила и родную (многонациональную) и мировую литературу исполненными высочайшего чувства гуманизма образами людей нового склада характера, нового строя чувств, носителей нового, невиданного в многотысячелетней истории человечества патриотизма, сочетающего сплав любви к своей, обновленной революционной бурей земле и верности мировому братству людей.

Что касается послевоенной тематики и проблематики, то мне кажется, что самые высокие взлеты песни о трудовой героике наших современников, строящих коммунизм, еще впереди, хотя хороших произведений, написанных литераторами всех братских литератур о нашей созидательной современности и творящих ее людях, уже написано немало.

Виталий Озеров



Пожалуй, мой литературный дебют состоял из трех частей, пришедшихся на три периода нашей истории.

...Годы первой пятилетки. Пятнадцатилетним рабкором я с гордостью взялся за поручение городской газеты (она выходила на двух страницах маленького формата, на серой оберточной бумаге): написать об условиях жизни и труда участников местной новостройки. Получился большой «подвал», полный гнева: и с бытом неважно, и снабжение не ахти какое, и до стройплощадки трудно добраться из пригорода — расписание поездов неудобное. Редактор, старый большевик, опытный журналист, в целом одобрил корреспонденцию, но заметил: «Не надо гнаться за абсолютно всеми вопросами, да и места в номере мало. Бери д е л о, пиши о главном».

В газете появилась заметка в 20 строк, названная не слишком-то элегантно: «Вниманию ж. д. администрации». Однако я не успел огорчиться: в редакцию пришли благодарить нас рабочие — теперь поезд останавливался в пригороде вовремя. Журналисты внесли свой скромный вклад в большие и кипучие дела, которыми была захвачена вся страна.

...Военные годы. Корреспондент авиационной газеты, я написал очерк о летчике-истребителе, который сбил на дальних подступах к Москве вражеский бомбардировщик и погиб смертью героя. До публикации показал его командиру эскадрильи, чтобы проверить, насколько технически грамотно воспроизведен бой. Комэск сделал всего одну поправку, а затем спросил:

«А нельзя ли подробнее рассказать о том, что мы переживали эти часы? Рассказать с таким волнением, как примерно в «Письмах товарищу» у Бориса Горбатова». Первый читатель очерка подсказал пути его доработки, необходимость сдержанно-взволнованной тональности, которая тогда отражала дух времени, суровую и героическую атмосферу боевой страды.

...Послевоенные годы. Наконец-то можно вернуться к мечтам и планам юношеских лет и заняться непосредственно литературным трудом. После нескольких рецензий завершена «проблемная статья»: анализ целого ряда явлений, решительная поддержка одних, резкое осуждение других. На этот раз выступление апробировал очень знающий литературовед, человек кристальной честности — Евгения Ивановна Ковальчик: «В общем, неплохо, но учитывайте всегда два момента. В литературно-критической работе должны быть точная мысль и убедительная аргументация. И будьте очень щепетильны в критических замечаниях, не забывайте, что сказанное о людях — факт и вашей личной биографии».

Думаю, ответил на первый вопрос анкеты. Три разных периода истории. Три разных человека, а все исходили из одного — из потребностей советской жизни, где дело окрылено чувством и пронизано мыслью. Сказанное учителями относится и к моим старшим товарищам, сверстникам: назову весьма достойные имена Бориса Рюрикова, Бориса Сучкова, Евгении Книпович, Льва Якименко — людей, сочетающих в своих книгах и статьях тонкий эстетический вкус и публицистичность.

Подобное сочетание, отвечая на второй вопрос, я бы отметил как очень перспективное и у ряда критиков более молодых поколений. Они углубляют духовный опыт пройденных нашей страной лет тем, что стараются глубоко показать созидательные дела народа, стремительный рост личности, роль литературы в этом процессе, в дальнейшей активизации идейно-нравственных начал нашей жизни, ее гуманистической направленности. Особенно хорошо, когда широта и ясность мышления неотделимы у критика от стойкости в отстаивании своей концепции. Такова, например, статья Евгения Сидорова «На пути к синтезу» («Вопросы литературы», 1975, № 6), вызвавшая горячую и плодотворную дискуссию о чертах советской литературы последних лет.



Вениамин Каверин

1. В годы моего дебюта передо мной стояли две задачи: во-первых, воодушевить нашу прозу, казавшуюся мне неподвижной, идеей движения. Приложение идеи могло быть разнообразным — острые повороты в создании характера героя, стремительное развитие сюжета, поиски новой композиции, стремление заставить читателя пройти сложный, зашифрованный путь, прежде чем он приблизится к главной мысли произведения. Один из моих любимых писателей — Р. Л. Стивенсон был убежден в том, что искусное построение сюжета (которое он называл «паутиной») отличает великого писателя от посредственного.

В годы моего дебюта я был с ним совершенно согласен. Впрочем, перечитывая свои первые книги, я сам удивляюсь той детской, дикарской жизнерадостности, без которой, по-видимому, мне не удалось бы их написать.

Я не верю, что можно научить писать, и убедился в этом на примере собственной жизни. Но можно убедительно показать, как важна нравственная позиция писателя и какую роль она играет в практической ежедневной работе.

Можно воспитать вкус, хотя это удается сравнительно редко. Можно угадать возможности ученика и не мешать их развитию. Можно заставить его прийти к перспективному пониманию своей неудачи. Над его самомнением полезно подшучивать — это внушает уважение к делу.

В него надо верить, если он этого заслуживает, но вера должна выражаться в отношениях, а не в наставлениях. Так меня учили М. Горький и Ю. Тынянов. Все, что я услышал от них, можно изложить на двух страницах.

Развернутые в их постоянном многолетием значении для моей жизни в литературе, они составили бы объемистый том.

2. Духовный опыт пройденных нашей страной лет предполагает знание литературной истории. С моей точки зрения, именно такого знания не хватает нашей молодой литературе. Много раз я убеждался в том, что молодые писатели не читали выдающихся произведений двадцатых и тридцатых годов и более чем поверхностно знакомы с классической русской литературой.

По-видимому, они даже не подозревают, что знание в их собственной работе должно превращаться в сознание.

Полезно напомнить им, что Л. Толстой знал пять языков, что в творчестве Достоевского отразился духовный опыт не только русской, но мировой литературы. Попробуйте вообразить Булгакова или Ахматову без их образованности! Она деятельно участвует в стиле, композиции, в духовности, которая пронизывает их книги. В современной молодой литературе это — редкое явление, вопреки тому, что у нас много талантливых писателей.

Меня могут упрекнуть в крайности. А Трифонов? Вознесенский? Битов? Ахмадулина? Быков? Конецкий? Разве в их произведениях не отразился духовный опыт прожитых лет, воплощенный в нашей литературе? Но «молодые» ли это писатели? Будем считать, что да, и тогда все у нас обстоит благополучно.



Борис Васильев

1. Я затрудняюсь ответить, какие проблемы жизни и искусства стояли передо мной в годы моего литературного дебюта. Они воспринимались комплексно, в едином потоке, не желая делиться на параграфы и укладываться в афоризмы.

Думаю, что и сегодня не отвечу на подобный вопрос: художественное мышление, свойственное писателю, ассоциативно и, начавшись с какой-либо логической посылки, развивается далее по законам цепной реакции. Вот почему, мне кажется, писатель должен писать не тогда, когда ему хочется, а тогда, когда разобрался в этом потоке и уже просто не может не писать.

В те времена моим любимым журналом была «Юность», и я мечтал когда-либо оказаться в числе ее авторов.

«Юность» привлекала меня тогда актуальностью тематики, молодым максимализмом, задором, граничащим с дерзостью.

Учителем в литературе (кроме, естественно, русской классики) для меня всегда был и остается Чарлз Диккенс. Что же касается ровесников, то мне всех ближе Василь Быков.

2. К сожалению, я затрудняюсь ответить и на этот вопрос. Для меня «качество» литературы прежде всего определяется именно качеством (прошу прощения за неуклюжий каламбур). В это понятие входит не только профессиональное мастерство, но и чуткость к общественной жизни, масштаб и обязательная самостоятельность мышления, смелость гражданской позиции художника. Часто ли мы встречаем произведения, к которым можно было бы приложить вот такой, комплексный «знак качества», а не только шаблон тематического признака?

Увы, средний уровень нашей журнальной прозы последнего времени, по-моему, кое-где снизился.

Не мое дело анализировать причины, но сдается мне, что увлечение непрофессиональными поделками сыграло здесь не последнюю роль. Они не только не олицетворяют «духовный опыт пройденных нашей страной лет», они в ряде случаев дискредитируют его, работая куда ниже того уровня, который был достигнут нашей прозой, скажем, лет двадцать назад.



Мария Прилежаева

1. Мое вступление в литературу было не совсем типично для большинства советских писателей. По возрасту я могла бы быть среди тех, кого называют зачинателями советской литературы, в частности детской и юношеской, принципиально новой по содержанию, идейной направленности, форме. Однако в то время, когда талантливейшие создатели этой литературы — Маршак, Чуковский, Житков, Пантелеев, Кассиль, Барто, Благинина, позднее Михалков — были давно известными авторами любимых читателем книг, я жила и работала в совсем другой области. Подростком-школьницей я поступила в одно уездное советское учреждение переписчицей (в двадцатые годы далеко не каждое учреждение имело машинисток, я не печатала, а писала и переписывала разные бумаги подобно гоголевскому Акакию Акакиевичу). Работа эта весьма далека от литературного творчества, зато впечатлений для молодого любопытного ума дала немало. Я и посейчас помню характеры, типы советских людей, служащих, большевиков того времени, и некоторые из них стали прообразами героев моих будущих книг.

Затем, едва окончив школу второй ступени, я стала учительницей сельской школы. Особая, совершенно незнакомая мне обстановка, бездна впечатлений, переживаний. Затем университет и снова школа, теперь другая, московская.

Вполне естественно, основной проблемой в годы моего немолодого литературного дебюта была для меня проблема жизни, чувствований, планов, поисков, мечтаний простого советского человека. Подчеркиваю — Простого. Пишу с большой буквы. Учитель, как бы ни был одарен и интересен, тоже Простой человек, не космонавт, не полководец, не капитан дальнего плавания, не председатель колхоза, не советник посольства и пр. Глубоко уважая представителей различных высоких профессий, я не могу о них писать, ибо знаю лишь внешне и понаслышке. А учителя знаю изнутри. Знаю ежедневный подвиг его жизни и работы, его неудачи и огромные победы. Молодые воины — герои Великой Отечественной войны, молодые строители БАМа, нефтяники Тюмени, молодые рабочие стахановского типа — кто взвесит долю учительского труда, вложенного в воспитание, формирование их характеров? Чаша весов, меряя учительский труд, низко опустится под благородным грузом.

Учитель и ученик, воспитатель и подросток-воспитанник, чутко внимающий правдивому, искреннему

словy и равнодушио-глухой к фальшивым громким словесам,— вот моя тема, мое увлечеиие. К сожалеиию, ие все мои кнни, всегда писавшиеся с увлечением, вполне и — даже без «вполне» — хороши. Но иные дошли до читателя, вызвали отклик, и конечно, в том моя самая большая писательская радость.

А какие проблемы искусства стояли и стоят передо мною? В искусстве я люблю «лирический реализм». Не знаю, существует ли такой термин в литературоведении.

Я нахожу лирический реализм в романах и рассказах Тургенева, новеллах Паустовского, произведениях Фраермана. Для авторов лирического реализма типично проникновеиное чувство природы. Не припомню в западной литературе пейзажистов, подобных нашим, чувствующим природу так тонко и глубоко, одаренных талантом нежного, взволнованного ее описания.

И человек — герой произведений «лирических реалистов», выхваченный из жизни, неоднолинейный, часто сложный, всегда духовно богатый, вызывает любовь. Я больше люблю любовь, чем ненависть.

Как хорошо, когда писатель вызывает в читателе любовь к человеку. Не беспокойтесь, тот, кто любит добро, непременно распознает зло, и в меру своей смелости и сил будет всячески бороться со злом, именно потому, что в нем глубоко живет любовь к добру.

Кого я считаю своим учителем в литературе? Было бы самонадеянно называть Льва Толстого. Назову Толстого, Чехова, Блока художниками, кому поклоняюсь, кого читая и перечитывая, молодею душой. «Приближается звук и, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок).

Из современных особенно люблю Ч. Айтматова, В. Распутина, В. Быкова, А. Ахматову, О. Берггольц, В. Солоухина.

А ровесников, с кем входила в литературу, назвать не могу. Я пришла в одиночку. Как ни парадоксально, будучи человеком общественного темперамента, я далеко не сразу нашла в литературной среде близких товарищей. Другое дело, когда писатель приходит со студенческой скамьи Литинститута, там уже обретя среду и друзей.

Мне трудно ответить на следующий вопрос, потому что, увы, современную молодую литературу я знаю поверхностно. Именно потому, вероятно, она кажется мне недостаточно разнообразной, редко встретишь крупную индивидуальность, свежее и острое перо, наблюденное что-то внове, впервые.

Если в нынешней, еще недавно молодой, а ныне уже зрелой прозе для юношества, представленной такими авторами журнала «Юность», как Алексин, Амлинский, Васильев, Лиханов,— явственно различаются творческие индивидуальности, то у начинающих «молодых» это редко.

Существенно важно, что молодые литераторы изображают своих современников,— это обеспечивает им миллионного читателя и тем более налагает ответственность.

У современных молодых большой запас лет впереди, а значит, довольно времени на труд, накопление опыта, поиски, находки, открытия.

Только бы не быть довольным собою, даже когда тебя хвалят, не успокаиваться, считать, что твоя главная лучшая книга еще впереди. Тогда может быть, удастся ее написать.



Ояр Вациетис

1. Мое поколение свои первые, робкие шаги в литературе сделало в сложное время конца 40-х и начала 50-х. Все, чем жили страна и общество в то время, во многом определяло наш творческий путь. Возможно, даже в большей мере, чем предполагаем мы сами. Этим сказано все, и в то же время ничего не сказано.

Война потребовала от нас ранней взрослости и самостоятельности. В темпе шахматного блица она беспощадно знакомила нас с такими фактами и факторами жизни, с такими гранями человеческих мыслей и поступков, которых мы попросту постичь не могли, но и отсрочки не могло быть и не было. Получился большой и грозный фактический опыт, который раздавил бы нас, по крайней мере покалечил бы, если бы мы не научились разбираться в нем, думая категориями истории страны и народа.

В таком серьезном анализе роковой является любая ошибка. Поэтому не удивительна в моем поколении та черта требовательности к себе в анализе, повышенная степень риска в эксперименте, гражданское мужество в самостоятельности, в суждениях о жизни и об искусстве, которые иногда и бьют через край, но являются залогом и гарантией успешного творческого труда целого поколения.

Совершенно конкретные «за» и «против» того времени лично для меня? Преклонение, если хотите,— благоговение перед той литературой, которая создавалась на моих глазах в годы войны и послевоенные годы, утверждая перед историей, что никакая военная мясорубка не может сломить высоту и чистоту нравственности народа, вставшего на защиту своих идеалов. Против? Бесила, по-мальчишески дико бесила та часть литературы и искусства того времени, где дельцы от ремесла, конъюнктурщики и прочие в своих творениях нагло и красиво лгали, не боясь гнева читателей, переживших войну. Этими страстными и категорическими «за» и «против» и объясняется публицистическая оголенность утверждения и отрицания в первых моих стихах да и всех моих сверстников в латышской поэзии.

Учитель? Сначала народное творчество и вся латышская поэзия, чтобы потом уже понять, что наиболее близкой окажется великая личность Александра Чака и его яркая поэзия. Но не для подражания, а в качестве образца. И еще один существенный факт — первооткрывание советской поэзии, особенно русской. Мы ее мало знали тогда. И вот вместе с преодолением языкового барьера, изучением русско-

го языка, мне представилась возможность путешествия по этой необъятной стране. Началось с наиболее близкого — с поэзии Михаила Исаковского, чтобы потом попробовать достичь краев более отдаленных и сложных. Значение всего этого я сам еще не могу оценить, только знаю и чувствую, что оно огромно.

2. Откровенно. Мне не хочется назвать ни одного качественного достижения нашей молодой литературы. И не потому, что таковых нет. Есть. И немало. Но самым ценным качеством молодых я считаю сам творческий поиск и в отличие от многих, которые сетуют на обилие эксперимента в творчестве молодых, утверждаю, что по требованиям эпохи нам не хватает дерзости в поиске и смелости в эксперименте. Вещи не тождественны, но очень уж бледно выглядят наши старания рядом с поиском и экспериментом молодых, скажем, в науке. Соответственно будет выглядеть и результат.



Анатолий Алексин

1. Эта цель стояла передо мной как первостепенная и в ту пору, когда я начинал работу в литературе, и в тот день, когда завершил свою последнюю повесть «Безумная Евдокия»: строители нового общества должны быть людьми добрыми (в самом истинном значении этого слова!), умеющими сострадать в трудную минуту не только себе самим, но прежде всего «чужому» горю, умеющими радоваться «чужой» радости. А главное, они должны хотеть и уметь побеждать беду, завоевывать счастье! Я всегда хотел, чтобы мои повести, рассказы и пьесы учили именно этому...

Лев Кассиль, говоря о моих повестях, утверждал, что их основная мысль такова: взрослость — понятие не столько возрастное, сколько нравственное, и определяется она прежде всего не датой рождения, указанной в паспорте, а поступками человека.

Думаю, незабвенный мой друг был прав. Кстати, вот я и ответил на вопрос о том, кто сыграл в моей творческой жизни большую роль. Ну, а самую первую мою повесть редактировал Константин Георгиевич Паустовский. Что и говорить, общение с ним было неоценимой школой.

2. Теперь о вашем последнем вопросе... Ближе всего мне в молодой литературе талантливые произведения, одухотворенные поисками и открытиями высоких истин нравственности и (простите, что повторяюсь!) доброты. Такие произведения есть. Некоторые из них впервые встречаются с читателями на страницах «Юности». Это очень хорошо!



Ираклий Абашидзе

1. Конец 20-х и начало 30-х годов — это период моего литературного дебюта: вернее, годы моих поэтических экспериментов. В данном случае слово «эксперимент» больше подходит, чем «дебют». Иной раз в дебюте раскрывается уже сложившийся художник, созревавший подспудно.

Начало 30-х годов... Ушел от нас Маяковский... В апреле 1932 года партия приняла постановление о роспуске РАППА. В 1934 году состоялся I съезд советских писателей, делегатом которого от Грузии был и я.

История нашей литературы и искусства 20-х и 30-х годов хорошо изучена, поэтому мне вряд ли следовало бы лишний раз распространяться по этому поводу. Да, мы много искали. Искали вместе и в одиночку; искали — словно золотоискатели, когда полные радости, а когда удрученные неудачами. Таков был дух эпохи. Не обходилось, конечно, и без курьезов.

Советская литература входила в новую фазу своего развития. Начиналась борьба за высокое, истинное мастерство. Борьба против упрощенчества и примитивности. Решение этой проблемы было одной из первоочередных задач, поставленных и на I съезде писателей. Там своевременно была выдвинута точная формула, гласящая о том, что нам, писателям, партия дала все условия, все права, кроме одного — писать плохо.

Высокое, истинное мастерство — вот задача, которая с особой силой встала перед нами, молодыми писателями и деятелями искусств.

Мастерство... Мне все казалось, особенно в те годы, что эта задача разрешима, задача, к которой, как я теперь понимаю, надо стремиться без конца.

В те годы моей душой, насквозь пропитанной творчеством двух поэтов XX века, певцов революции — Владимира Маяковского и Галактиона Табидзе,— овладела также и поэзия Александра Блока. Даже самого Маяковского начал читать по-другому, он поновому предстал передо мной. Я видел в этом поэте — горлане, главаре — и большого лирика. Поэтому, когда сегодня меня спрашивают, кого из поэтов я считаю своим учителем, я в одно имя — учитель — объединяю сразу этих трех поэтов. Они глубочайшим образом воздействовали на многих поэтов мое-

го поколения. Для меня их объединяет общее качество — лирика, высокая лирика.

2. В современной молодой литературе я прежде всего ценю высокий гуманизм и интернационализм. В качестве примера я бы хотел привести роман «Не бойся, мама» талантливого представителя нашей грузинской новой литературы Нодара Думбадзе.

Какой истинный гуманизм и неподдельный интернационализм отображены в этой книге! Какой братской любовью живут защитники южных границ нашей страны, молодые посланцы братских республик! Обо всем этом рассказано естественно и убедительно.

Что касается советского патриотизма, наша новая литература впитала в себя все лучшие традиции художественного отображения героических примеров служения Родине от писателей старшего поколения и достойно продолжила и продолжает их.



Ираклий Андроников

1. Задачу, стоявшую передо мной в мои молодые годы, коротко определить трудно. Как начинающий филолог я хотел сделать что-то очень большое, открыть в жизни и поэзии Лермонтова еще не изученные эпизоды (а таких и сейчас достаточно). Как рассказчик... Но рассказчиком меня стали именовать потом, а в те годы называли имитатором и пародистом. Я не спорил, хотя имитатором и пародистом себя не считал, а думал скорее о своеобразных портретах моих знакомых, воплощенных в интонациях, мимике, жестах, походках и, разумеется, в их речах, подобных тем, какие они произносили в действительности, а может, и не произносили. Легкое «смещение» смысла сообщало «портрету» достоверность. Если прибавить, что каждое исполнение строилось на импровизации, что заученного наизусть текста у меня никогда не было и что данное представление было адресовано именно этой аудитории, именно сейчас,— все это объяснит вам, почему нельзя было записать и напечатать эти рассказы...

Учителей у меня было много, включая тех, о ком я рассказывал. Но, по существу, учитель у меня был один, правда, я его никогда не видел и не слыхал. Он умер за 13 лет до моего рождения. Его звали Иван Федорович Горбунов. Одновременно с театром Островского на литературной эстраде творил человек, сочинения которого были неотъемлемы от него самого, его личности, от его умения несколькими фразами, а иногда и одной репликой изобразить толпу. Это были рассказы главным образом из жизни московского купечества. Впоследствии он записал тексты своих рассказов. Но еще интереснее этих текстов воспоминания друзей о том, как он рассказывал их. Если бы он дожил до изобретения звукозаписи, его место в литературе было бы совсем другое. Он умел передать то, чего не передать на бумаге.

Горбунов был знаком с семьей моей матери, родные мои не раз его слышали, и я воспитался под впечатлением рассказов о Горбунове.

Итак, если выразить одной фразой, задача моя в начале пути заключалась в стремлении «построить» характеры иначе, чем они строятся на бумаге.

Но исследовать произведения литературы Горбунов меня научить не мог. Тут были другие учителя. Выдающиеся литературоведы Эйхенбаум и Гуковский, а несколько позже — Шкловский, с которым всю жизнь дружу и у которого продолжаю учиться. Очень сильно обязан я Тынянову, которому по окончании университета помогал в работе, добывая для него литературные справки в библиотеках и постоянно становясь его слушателем, когда читал он мне страницы только что написанного, читал стихи Пушкина, Кюхельбекера, слегка «показывая» их — когда он был Тыняков, но как бы и не совсем Тынянов. Замечательную филологическую школу я прошел у выдающихся языковедов Щербы и Виноградова. А человеком, который научил меня восхищаться не только сюжетом в романе, не только его героями, но и поэтической фактурой произведения, скажем, у Гоголя в «Невском проспекте», был Евгений Шварц. Я подружился с ним, когда еще учился в университете. Он хохотал, слушая мои рассказы, а потом очень интересно пересказывал их. Эти пересказы открывали мне, кто я такой. Уже самый интерес к тому, что я делал, самый смех определяли характер рассказов, тем более что их можно было разным людям рассказывать по-разному. Моя аудитория меня учила и продолжает учить до сих пор.

Многому научился у своей дочери — искусствоведа Мананы Андрониковой.

Всю жизнь я занимался Лермонтовым и не могу представить себе своей жизни, которая прошла бы без него. Но больше всего на свете люблю Гоголя, который говорил: «...он изобразил на лице своем мыслящую физиономию», который описал наступление ночи на Невском проспекте,— «...когда весь город превращается в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все в ненастоящем виде».

Я бы сказал, что Шварц был моим первым тренером. Кроме него — Катаев и Олеша, которые заставляли меня импровизировать в образе на заданную тему. Обязан Тициану Табидзе, Георгию Леонидзе.

Большим событием было знакомство с Алексеем Максимовичем Горьким. Его одобрение сильно прибавило храбрости.

Но я все называю здесь литераторов. А, кроме них, есть и другие. Я скажу: дирижер Штидри, Соллертинский, мой добрый друг дирижер Николай Рабинович, Дмитрий Шостакович, Владимир Яхонтов, художники Виталий Горяев, Орест Верейский... В литературоведении всегда чувствовал локоть Владимира Орлова, с которым дружу со студенческой скамьи. Смолоду до сих пор получаю огромное удовольствие от бесед с Ильей Фейнбергом. Пушкинистом. Если можно назвать пушкинизмом философские аспекты истории литературы, которые возникают при нашем общении. И оба мы обязаны Сергею Михайловичу Бонди — тончайшему художнику мысли, которому открыты ходы мыслей не только Пушкина, но и очень многих из тех, кто создавал культуру XIX столетия.

Всю жизнь я хотел писать о писателях так, как профессор Цявловский рассказывал о Пушкине. Когда история казалась реальностью, когда в глазах этого представительного седого красавца с испанской слезы стояли и ток проходил сквозь сердца. И при этом одна только правда, без вымысла.

Так вот: как «пишущий» писатель я состоялся, когда детективные сюжеты, рождавшиеся в поисках еще неизвестного, потерянного, ненайденного (чему смолоду учил меня Илья Зильберштейн), соединились с умением рассказывать, и когда я сумел малую часть устных рассказов переложить на бумагу. Но «устность» их такова, что и сейчас, обладая опытом, очень многого не могу рассказать на бумаге. И что бы я делал, не будь радиовещания и телевидения, сказать не могу. Наверно, писал бы о Горбунове.

Из прозаиков (о поэзии разговор особый) очень люблю А. Н. Толстого, Тихонова, Катаева, Казакевича, С. Антонова, Чуковского, Всеволода Иванова... Люблю Айтматова. Прозу Гамзатова. Люблю Межирова, его размышления о литературе по телевидению. Целая глава моих устных мыслей — Пастернак, Нейгауз, Святослав Рихтер. Очень обязан старому МХАТу, музыке, тем, кто согласен слушать меня в коридорах издательств, на лестницах библиотек, везде, где я могу не рассказывать, но не могу удержаться при виде «публики», которой я становлюсь обязан новыми опусами.

Как иногда говорит мне Катаев: «Вы были в числе фундаторов «Юности». Это верно, и я с удовольствием вспоминаю годы работы в вашем—нашем?—журнале. Желаю ему успехов.

2. Вы хотели еще знать, кто из молодых привлекает мое внимание?

Сегодня — Борис Васильев, Виктория Токарева.



Петрусь Бровка

1. Я начал писать в середине двадцатых годов. Есть у меня стихотворение, в котором говорится, что «Как же стал я поэтом, я не знаю и сам...» и «Просто сердце запело, так хотелось ему...». И это действительно было так. К тому времени, а мне было двадцать лет, я уже проработал семь из них. Начал в тринадцать лет — в 1918-м — переписчиком волостного военного комиссариата, потом был делопроизводителем волисполкома, счетоводом совхоза и председателем сельского Совета. Это в первые годы после победы Великой Октябрьской революции. И я очутился, как говорится, в самом горниле жизни. Мне довелось быть в ее гуще да и участвовать активно в ней. Что нас влекло, тогдашнюю молодежь, юных комсомольцев? Революция! Мы видели, как рухнуло старое, угнетающее, черное и как засияло новое, светлое, зовущее вперед, как в борьбе оно утверждалось. Всех нас влекла тогда борьба. Мы пели, что «на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...», и верили, что вскоре грянет мировая революция и мы будем активными участниками ее. Не были мы большими провидцами, но в победу рабочего класса верили твердо.

Мы, молодые поэты, и писали об этом, писали о том, что видели сами. И о радости новой жизни и о том, как боролись со всем, что вредило ее росту: с кулаками и самогонщиками, с нэпманами и религиозным дурманом, боролись за новый быт, советский, пролетарский. Видимо, это и определяло преимущественное тяготение наших стихов к гражданским мотивам. Интимная лирика как-то слабо проявляла себя.

У кого я учился? У тех, кого обожествлял. У Пушкина, Некрасова, Шевченко. У тех, кого я полюбил еще со школьной скамьи. Ну и, конечно, у Купалы и Коласа, которые всколыхнули всю мою душу, отразив в своих произведениях наше родное, белорусское село, пробудив великое чувство, что «мы белорусы— людьми стали зваться».

Ну, а когда сам взялся за перо, потянуло более широко познать и современную поэзию. И тут я не был однолюбом. Мне как-то в одно и то же время весьма нравились Есенин и Маяковский, Багрицкий и Светлов... А из более старших белорусских моих современников Михась Чарот и Владимир Дубовка. Чарот был страстным революционным поэтом, Дубовка — более склонным к глубоким философским раздумьям. Ну, а из ровесников — Петро Глебка, который и по пройденному жизненному пути и по тому, о чем писал, был наиболее близким мне.

А писали мы о том, что видели, чем жили, о том, что сами делали.

2. Я высоко ценю нашу современную молодую поэзию. Собственно, в мои годы ныне, какую называть молодой,— затрудняюсь. Читаешь первые книжки молодых поэтов и не заметишь, как уже они задают тон и становятся основными творцами в современной поэзии. Но если говорить о самых молодых сегодня, то меня радует, что почти у всех, даже у начинающих, более высокая культура вообще, да и более высокая техника стиха, чем были в свое время у нас. Оно и понятно. Все они имели возможность получить надлежащее образование да и познать достижения как родной, советской, так и мировой поэзии.

Что еще меня радует у молодых? Беспредельная любовь к родной земле, глубокий патриотизм — они поистине продолжатели нашей революционной поэзии. Удивительно, как они, еще совсем юные, вдохновенно и правдиво отражают в своих произведениях и героику гражданской войны и тем более Великой Отечественной, хотя сами ни солдатами, ни партизанами не были. Я считаю большим достоинством молодых поэтов умение отображать нашу повседневную, трудовую жизнь. Пишут ли они о работе на шахтах, на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, на целине,— получается взволнованно, свежо и правдиво. Может быть, потому, что некоторые из них пишут, как говорится, не отрываясь от производства.

Ну, а что касается любовной лирики, она, мне кажется, несколько однообразна. И как будто индивидуальна и в то же время похожа, как и у других. Нет настоящей свежести и глубины. Не мешало бы вновь и вновь обращаться к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Блоку, Маяковскому, Есенину...

Ну, а если я ошибаюсь, да простят мне мою недооценку в этом сокровенном для них, тем более что все остальные достижения я ценю высоко и искренне.

Альберт Лиханов



1. Когда началась война, мне было шесть лет, когда она кончилась, десять, но я считаю: эти четыре года сыграли огромную роль во всей моей дальнейшей жизни, как, впрочем, в жизни моих сверстников, хотя и были мы в ту пору мальчишками. Четыре года войны важны и бесконечно живы в памяти и сердце не только тех, кто воевал, но и тех, кто ждал воевавших дома. Это ожидание сливалось из горя, из голода, из сострадания и потерь. Война преждевременно оборвала наше детство, сделала нас старше. Рожденные перед войной и войну помнившие поверяют, мне кажется, теми трудными днями все остальное свое существование. Войной, мне думается, поверяются и те книги, которые посвящены совсем другому. Иногда ловлю себя на странном: пишешь повесть, как говорится, современную, но вдруг, словно бы ни с того ни с сего, то герой появится из той, военной поры, то ассоциация с военным временем, то еще что из того непростого времени... Да, крепка в нас память о войне, что и говорить. Случайно ли это? Конечно, нет.

С детства мне приходила в трудные минуты мысль: почему люди плохо понимают друг друга? Особенно взрослые люди — людей малых. Ведь и делов-то — взять да поставить себя на место другого. Вообще почаще ставить себя на место другого, с кем споришь. Понять его. И еще одно неотвязное воспоминание — больное чувство несправедливости старших к младшим. Думаю, что эти чувства привели меня в конце концов к юношеской литературе, в которой воспитание чувств, воспитание нравственности считаю делом первостепенным.

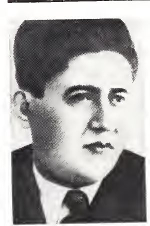
Воспитание чувств в пору первых пятилеток или войны, или послевоенной жизни, или в наши дни — всегда было призванием литературы. Наша литература, которую, по-моему, за это и зовут литературой социалистического реализма, показывала формирование личности в каком-то общем важном деле. Сегодняшний день диктует освоение нравственных начал в ранней юности, в отрочестве. Чем раньше человек осознает себя личностью, чем раньше выработает в себе правила жизни, тем лучше: ведь воспитание чувств, вытесывание краеугольных камней общественного поведения есть подготовка борца к действию.

Для меня как писателя особенно близок и важен опыт Анатолия Алексина и Николая Дубова. Ровесниками их назвать не могу, учителями?.. Сказать трудно. Вообще называть учителя в литературе сложно. Вот сейчас, в сорок с лишним, читаю подряд все письма Чехова и учусь не столько литературе — все-таки эпистолярной,— сколько открываю сложный этический мир писателя, а ведь это тоже надо постигать, я думаю.

2. В современной молодой литературе одно из добрых свойств — первостепенный интерес к духовному миру человека. Этим интересом всегда славилась наша российская литература, советская литература это достоинство развила и закрепила. Впрочем, так естественно все тут — ведь литература исследует человека, прежде всего человека. Исследование это извечно и непреходяще.

На многих хватит.

Мирзо Турсун-заде



1. Я пришел в литературу в годы великой ломки многовековых воззрений и устоев, в годы первых пятилеток, которые для республик Средней Азии были временем огромных перемен, исполненных пафоса социалистического строительства. Мы жили и работали под звездой Октября, которая все ярче разгоралась над миром и дарила нам свое вдохновение. Песня нас буквально переполняла. Хотелось выразить пережитое, свои мысли и чувства, свою радость и ненависть. Но как это сделать, мы в то время себе еще ясно не представляли.

У нас, таджиков, своя многовековая поэтическая традиция. Лучшие образцы нашей классики вошли в сокровищницу мировой литературы. Однако новое время требует и нового поэтического дыхания.

Уже были созданы поэтические откровения С. Айни и А. Лахути. Но мы стремились, как и всякая молодежь, к новому, неоткрытому. Мы жадно читали Горького и Маяковского, Тихонова и Багрицкого. Учились у них. Учились у жизни. Участвовали в народных стройках и снова учились — у рабочих, колхозников, друг у друга.

Представьте себе вольного сокола, томящегося с подрезанными крыльями на заднем дворе. Но вот он почувствовал, что снова может летать, однако еще не уверен в своих силах. Между тем нельзя не лететь. И медлить тоже нельзя. И вот он поднимается в небо, не зная, удержат ли его вновь отросшие перья. Примерно такое чувство испытывали и мы в начале своего творческого пути.

Наиболее близок был мне и человечески и творчески Пайрав Сулеймони, поэт необычайно широкого кругозора, высокого душевного накала, большой искренности.

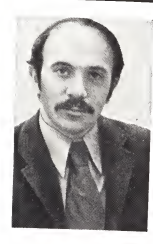
2. Современная молодая литература прежде всего привлекает гражданственностью как врожденным

Ответы на анкету «Юности» — последние строки, написанные Мирзо Турсун-заде.

поэтическим чувством. Вот пример, знакомый читателям «Юности». Я упомяну о поэме М. Каноата «Голоса Сталинграда». М. Каноат был еще мальчишкой, когда гремела Великая Отечественная. И жил он далеко от фронта, в горном Дарвазе. Тем не менее молодой поэт с таким проникновением, с таким глубоким чувством воспел подвиг защитников Родины, что поэма эта вызвала всеобщий читательский интерес, всеобщее одобрение и выдвинута на соискание Государственной премии СССР.

Убежденность в торжестве наших высоких идеалов, светлом будущем человечества придает творчеству молодых ту высокую поэтическую окрыленность, без которой, как мне кажется, не может быть настоящей литературы.

В молодой таджикской поэзии таких индивидуальностей немало. Достаточно назвать еще хотя бы Л. Шерали и Б. Собира.



Анатолий Макаров

1. Пишущих часто упрекают, что они недостаточно хорошо знают жизнь, от жизни отстают и т. д. Упреки эти, на мой взгляд, скорее риторическая дань традиции, нежели свидетельство реального положения вещей. Никто не живет на облаке, и «жизнь» в том или ином ее качестве известна каждому. Тот, кто берет в руки перо, на самом деле должен не просто «знать жизнь», но уметь черпать из этой жизни, то есть постоянно отыскивать в окружающей действительности, в собственной скромной биографии и биографиях родных и знакомых, в каждом прожитом дне, в мимолетных встречах и осознанных наблюдениях материал, способный послужить предметом искусства.

Вероятно, истинно побудительный толчок к писательству в отличие от честолюбивого томления духа или игры фантазии в том и состоит, что однажды осознаешь внезапно, страшась собственной дерзости, что многое из твоего заурядного, ничем не примечательного бытия, оказывается, так и просится быть отображенным, запечатленным и воссозданным на бумаге. Прямо-таки не может не быть не воссозданным. Мне кажется, что придумать (в прямом смысле этого слова) ни рассказ, ни повесть нельзя; рождение замысла для меня совершенная тайна, о которой мне известно только то, что ей предшествует длительное и ни в коем случае не специальное — то есть никак не сбор материалов — душевное накопление конфликтов, характеров, судеб, обид, слез, страстей и волнений.

Со мною, сугубо городским человеком, воспитанным на прозе И. Бабеля, Ю. Олеши, В. Катаева, собирающим все, что когда бы то ни было вышло из-под пера Ю. Трифонова и А. Битова, такое вот самонадеянное осознание себя обладателем единственного и неповторимого душевного опыта случилось под впечатлением от «деревенской» прозы, столь властно и талантливо проявившей себя в начале семидесятых годов. В. Белов, В. Распутин и в особенности В. Шукшин, мало влияя на мои стилистические потуги, служили мне и теперь служат примером того, как в «перл создания», по выражению Гоголя, претворяется самая что ни на есть обычная, рядовая жизнь, с ее всем знакомыми, не очень-то вдохновенными заботами и радостями, с привычным течением дней. Я читал об этих стариках и старухах, о вечных безотказных тружениках, о задиристых искателях высшей истины и красоты, обутых в кирзовые сапоги, и думал о том, что долгие годы жил среди них, горевал и радовался с ними, гулял на свадьбах и на проводах в армию, сидел за одним столом, был, в сущности, одним из них, только происходило это не в алтайской деревне, не в избах на берегу Ангары или Печоры, а в московских дворах, в переулках, изрезавших толщу старых кварталов, в новых кварталах, построенных на месте пригородных деревень, свалок и пустырей. (Эта сопоставимость мотивов, социальных тем «деревенской» и «городской» прозы очевидна мне и ныне, я вполне представляю себе «Прощание с Матерой», написанное на материале обреченного на снос московского квартала.) И я понял вдруг, что во мне говорит не что иное, как причастность к народной жизни и к народной судьбе, осознание которой (не благостное, не хвастливое и уж тем более не заносчивое) необратимо в своей очевидности. Ты ездил по свету, летал на скоростных самолетах и при всем этом никуда не ушел из своего двора, со своей улицы, от своей школы, никуда не делся из собственной своей страны, родной до боли и озноба, без которой не бывает писателя. С которой писатель начинается.

2. Самое дорогое для меня в нынешней молодой литературе — это постоянный духовный поиск, желание нравственного совершенства. Лет пятнадцать назад более обращал на себя внимание поиск внешний, формальный — впрочем, он тоже отражал и выражал внутренние общественные процессы,— плоды его налицо, он оживил литературу, прогремел, просиял, вернул прозе блеск, метафоричность, раскованность интонации, лирическую теплоту.

Сейчас молодая проза и та, которая была молодой пятнадцать лет назад, идут вглубь. В этом, несомненно, отражается та социальная и духовная зрелость, которая достигнута ныне нашим обществом. Зрелость эта, на мой взгляд, предполагает трезвое и конструктивное отношение ко многим предвиденным и непредвиденным процессам нашей общественной, хозяйственной и духовной жизни. Вот, скажем, некоторое время назад литераторы с восторгом упивались грядущими свершениями научно-технической революции, ожидая по мере их осуществления едва ли не полной человеческой гармонии на земле. Теперь мы видим, что достижения техники и в самом деле дали значительный толчок производству, облегчили и обогатили наш быт, однако сами по себе никаких этических проблем не разрешили. Можно сказать, что выдвинули новые проблемы. Отсюда неизбежность новых критических и конфликтных ситуаций, новых драм и противостояний, раскрытием и исследованием которых занимается литература, если она без деклараций и без поз ощущает свое дело как проявление народной совести. Мне думается, что понимание и, следовательно, изображение народной жизни в наши дни не может ограничиваться патриархальным «почвенничеством» — в этом

смысле сложная проза А. Битова и А. Кима, подчеркивающая свою связь со всею культурой российской словесности и философии, не кажется мне ни герметической, ни переутонченной. Справедливо сказано у Андрея Битова: «Писатель, даже тот, что «не про народ», существо очень народное». В этом, мне кажется, и сказался со всею естественностью и полнотой духовный опыт, накопленный всеми нами за годы нашей новейшей истории.

Константин Ваншенкин



1. Я принадлежу к числу писателей, рожденных войной,— к тем, кто не только не пришел на войну уже готовым журналистом или писателем, но и не стал таковым в ходе ее. Мало того, ни о каком писательстве я и не помышлял. Это явилось позже, неожиданно и даже, как я понимаю сейчас, несколько удивило меня самого. Возникла потребность выразить свое время и себя в нем, рассказать о войне, армии, о своих сверстниках, о дорогих погибших товарищах. Ради этого я взялся за перо, это осталось основным в моей жизни и работе и через много лет, хотя, разумеется, я пишу и о другом.

Одна из главных трудностей начальной поры заключалась как раз в том, что о войне к тому времени было написано немало и очень хорошо, и зачастую критика простодушно требовала от нас немедленного перехода на мирные рельсы. Теперь наивность подобных рекомендаций очевидна, а тогда было непросто отстоять свое право писать «опять о войне». Кое-кого так и сбили с толку, и они уступили или задержались с истинным дебютом на несколько лет.

Первым поэтом, с которым я познакомился и разговаривал в своей жизни, был М. В. Исаковский. Я ему очень многим обязан. Большое влияние оказал на меня А. Т. Твардовский — не столько, думаю, непосредственно на мои стихи, сколько на отношение к жизни, искусству, собственной работе. Вероятно, они и есть мои учителя.

Из ровесников наиболее близок мне был Е. Винокуров. Мы с ним одногодки, а это очень много значило и особо сближало в такой судьбе, как наша: одновременность призыва, сходство ряда жизненных ситуаций.

2. Индивидуальность художника, непохожесть его на других чаще всего проявляется и устойчиво закрепляется, когда ему есть что сказать, когда его переполняют жизненные впечатления. Если же этих впечатлений мало или они неотчетливы, то и способности работают не на полную мощность и затухают. А не наоборот! За счет голой техники ничего не добьешься. Великие артисты умирали на сцене. Замечательно, когда духовный опыт, накопленный нашим обществом и страной, естественно сочетается с личным опытом молодого литератора.

Закончу стихами.

Художники в широком смысле —
Поэты, трагики, певцы,—
Одни довольно быстро скисли,
Другие, право, молодцы.

На арфе, или же на лире,
Иль красками на полотне...
Но что бы там ни говорили,
Мы с вами родственны вполне.

Одна судьба, одна задача —
Рисуй, играй или пиши,
Но непременно что-то знача
Для человеческой души.

Игорь Шкляревский



Помню газетный киоск в потеках сырости. Была весна. Мне было 20 лет. Я развернул журнал и увидел свои первые стихи. Руки не дрожали, но горло замерзло... А на вершине пустого тополя раскачивался и орал в синем воздухе растрепанный ветром грач. Я шел по дощатому тротуару, доски пружинили, грязь выплескивалась из щелей.

Завод стоял над городом. Над черными полями небо было еще синее. И я почувствовал бессилие своих слов перед жизнью, весной... Мои первые стихи получили премию года, но я их к тому времени уже перерос. И лет пять не печатался — замыслы были сильнее того, что получалось. Хотелось писать так, чтобы исчезла условность, чтобы не чувствовался переход от жизни к поэзии, чтобы мне поверили и те, кто стихи не привык читать. Хотелось, чтобы слова, как пойманные рыбы, шлепали хвостами по бумаге, царапали ее жабрами.

И эту радость я писал
без слов! Но дятел лист прорвал.
Жук проточил! Огонь сожрал!

Хотелось, не расшатывая традиционных размеров, ускорить стих. Время подсказало мне глагольную рифму.

Я работал на заводе два года, написал пять или шесть стихотворений. Можно ли поехать в командировку на стройку и привезти 30—40 стихотворений? Это какая-то хитрость, неуважение к труду и поэзии.

Важными для себя считаю эти строчки:

Глушу холодный от росы будильник
и городскую землю покидаю,
как будто руку, у вагранки обожженную,
в ледяную воду погружаю...
Сравненье это я придумал после
того, как я увидел свой литейный.
А грузовик уже несется в поле...

Все смешалось — запах горелой земли литейного цеха, ледоходы на Днепре, ветер на старой круче, где три вчерашних десятиклассника захлебывались героическими, нежно-сбивчивыми строчками Вл. Луговского.

У каждого возраста свой поэт.

Мне повезло — в Минске я познакомился с критиком Григорием Березкиным. Он стал моим первым редактором и наставником. У него была трудная судьба и редкостное чутье на всякую восторженную фальшь, на стремление любой ценой быть непохожим на других,— приволакивать ногу, когда графоманы чеканят шаг. Он первый сказал мне о том, что русская поэзия всегда была милосердной. Тогда мне открылась величавая сила этих строк:

...Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

От Березкина я впервые услышал гениальные строчки Ярослава Смелякова:

И я слежу за чередою дней
Из-под чугунных сдвинутых бровей.

И когда Смеляков через несколько лет сказал мне, что напечатает в «Дне поэзии» целую книгу моих стихов, я не сразу поверил. Тогда молодых опекали по-цыгански — кто выживет! Не то что сейчас.

Правда, ни Луговского, ни Смелякова, ни Слуцкого, который накормил, выслушал и одобрил, своими учителями я не считал. Поэзия не слоеный пирог, возраст наивысшего торжества неизвестен. Многие поэты к старости остались со своими ранними книгами. А когда они писали эти книги, у них были учителя... Один из моих любимейших поэтов — Бунин.

Тихий океан, Карабах, Север...

Много совместных странствий было у нас со Станиславом Куняевым. И все-таки не они, а наше «провинциальное» происхождение, песчаные берега Днепра и Оки сблизили нас. Как-то я бродил по тихим улицам Калуги, и до меня долетел знакомый, волнующий запах гари, полыни... Как будто я бродил в своем послевоенном городе. Однажды Межиров в разговоре о молодом, весьма начитанном поэте с грустью сказал о высшем образовании без начального. Что же это такое? Может быть, полынные пустыри, воздух Победы и семьи, солнце в развалинах... Даже книги тогда были особенные — таинственный запах сырости, оборванные страницы, стертая позолота.

Кого теперь удивишь новым домом, даже кварталом? А в 49-м году, когда в моем городе забелел среди развалин первый трехэтажный дом, мы — дети подвалов и землянок — бросили игру и пошли посмотреть на него. Мы выжили, поступили в московские вузы, но остались верны своим зеленым берегам, своему начальному образованию.

Уже в 60-е годы во время эстрадного шествия поэзии меня тревожила судьба лесов и болот: правда, я не огораживался ими, дышал большим временем, его заботами и издержками.

И тогда и сейчас одна дума — не превратить поэзию в игру словами.



Василий Афонин

Первая моя повесть, «В том краю», была написана в начале 1972 года. В ноябре того же года она появилась в журнале «Наш современник». Следующей осенью в «Нашем современнике» публиковалась вторая моя повесть, «Письма из Юрги», которая связана с первой героями, временем и местом действия, и, следовательно, повести представляют собой единое целое.

Так состоялся литературный дебют.

Что касается личной жизни, то я вовсе не надеялся поправить ее, то есть разрешить проблемы путем занятий литературой. Если говорить о жизни вообще, то я боялся даже подумать о том, что смогу таким простым способом, как публикация произведений, каким-то образом изменить, улучшить, усовершенствовать жизнь, к чему всегда стремится человек.

Единственное, чего я хотел тогда, имея смутное представление о писании книг,— это как можно правдивее и точнее показать свою малую родину — деревню Юргу, где родился и вырос, и людей, которые меня окружали и которых я знал.

И все это постараться подать простым и ясным языком.

Есть два прозаика, которые, если можно так выразиться, наиболее полно передали мое внутреннее состояние,— это Лермонтов и Хемингуэй. Но прежде всего Лермонтов. Чему и как я учусь у них (если учусь, конечно), внятно объяснить не могу. Есть еще целый ряд писателей, которых я всегда чту, но назвать кого-либо из них своим учителем мне трудно.

Учусь писать у всех понемногу, поэтому учителем своим считаю русскую литературу.

Близки мне некоторые литераторы старшего поколения: Шукшин, Белов, Казаков...

Современная молодая литература развивается в лучших традициях классической и послеоктябрьской нашей литературы. Прежде всего она полна глубокого уважения к человеку. На основе накопленного старшими литераторами опыта молодая литература пытается осмыслить, а осмыслив, разрешить проблемы, которые ставит перед человеком жизнь.

Юрий
КОЗЛОВ

Алексей
ФРОЛОВ

ДОРОГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



Рисунки М. ЛИСОГОРСКОГО.

Десять лет назад, в канун пятидесятилетия Октября, журналисты «Юности» твердо ступили на тюменскую тропу.

Строительство железной дороги Тюмень—Сургут в те дни действительно напоминало малохоженую, только-только пробитую тропу.

Но работы разворачивались быстро. Земснаряды намывали со дна окрестных озер гигантские, пожалуй что с египетские пирамиды, бурты песка. Вдоль трассы, словно бусины по нитке, сновали грузовики, разматывая песчаную ленту насыпи. Лента пристегивалась к ленте ажурными металлическими пряжками мостов. А вслед с юга на север, от Тюмени к Сургуту, как росток к солнцу, тянулась по тропе ниточка готовой дороги.

В конце нынешнего лета в редакции состоялась обычная — очередная — встреча с нашими подшефными. Говорили о проблемах и нуждах стройки, о планах на будущее. Мыслями наши подшефные были уже за Уренгоем... Говорили и о журнале—как помогал, как может помочь в будущем. Вспоминалось многое — накопилось за десятилетие. И самые острые публикации вспоминали («Строят все-таки в Нижнеудинске завод по производству домов контейнерного типа, не в «щелёвках» будем жить — добился журнал!») и ежегодные праздники «Юности» в Тобольске — на эти праздники литературы и труда собирались тысячи людей. Вспоминали поездки писательских бригад и специализированных студенческих отрядов — художников-оформителей, актеров, педагогов; и библиотеки, собранные для стройки журналом. Кто-то припомнил, как «Юность» «выбила» для подшефных миллион штук кирпича: «Пионерлагерь из этого кирпича построили!»

Выступил и старый друг журнала, бригадир монтеров пути Герой Социалистического Труда Виктор Молозин: «По-моему, главный «кирпич», вложенный журналом в здание стройки,— это показ нашей жизни, наших успехов и промахов, без этого невозможно движение дела, человеческий рост... Вот таких «кирпичей» надо бы побольше...»

...Готовя отчет о последнем путешествии по стройке, мы постарались учесть это пожелание.

Виталий Кислов



Виталий Кислов — уроженец Дальнего Востока. После десятилетки он работал токарем на заводе ВЭФ в Риге, затем окончил высшее инженерное авиационное училище и служил в Советской Армии. Сейчас работает инженером.

Приземление

Не паденье, а «посадка»,
Не удача, а «расчет» —
Так потом на танцплощадке
Он пускай невесте врет...
Не хромает целый вечер,
Нарочито легок шаг...

А пока
К нему
Навстречу
Мы бежим, едва дыша.
Он живой,
Он снова с нами,
Он не знает, что сказать —
Все слова его
слезами
навернулись на глаза.

✪

Как мы уверены в полете!
И есть на каждом самолете
Прибор-ответчик:
«свой-чужой».

Он безотказно выручает:
Я запрошу — он отвечает.
Раз отвечает, значит, свой,
Молчит — я начинаю бой.

А на земле ка́к с полуслова
Узна̀ю своего, чужого!

И все земное

Над нами небо, полное работы:
Туда — скворцы,
Оттуда — самолеты,
А наш скворечник им всегда маячит,
Навстречу небу устремленный весь...
И все земное смотрится иначе
С тех пор,
Как мы вдруг поселились здесь.

А ночью шумно здесь, как будто днем,—
Всего в пяти шагах
аэродром.
Кого-то вечно ждущая планета,
Как мы в скворцах,
Всегда нуждалась в нем.
И совершилось —
рядом с ним живем
И не жалеем до сих пор об этом.

Вот, завершая рейсовый полет,
Опять прошел над нами самолет
С достоинством
большой и умной птицы.
Он по глиссаде вежливо садится
На землю,
как на точные весы,
Колесами,
как спичками,
касаясь,
Чиркнув во тьме по краю полосы...

И ко всему земному возвращаясь,
По прерванным своим делам идет
С небес сошедший только что народ.

Дневник

Редактор,
Ради детства и Камчатки
Из этой старой,
в клеточку
тетрадки
Ни слова не выбрасывай,
прошу!
Я только переменку воскрешу —
На переменку много ли отпущено!..
А в пятом классе — Люба Колотущенко.
Я марки собирал
и ей дарил.
(Тогда их было мало на Камчатке.
Я складывал их в школьную тетрадку,
Разглаживал
И сразу все дарил,
И больше ничего не говорил.)
Она порою говорила:
«Здрасьте...»
И я тогда, взъерошенный от счастья,
Носился, вызывая чей-то смех,
И сам себе казался лучше всех.

✪

В порту теснились горы соли,
Машины, бочек штабеля.
— На материк собрался, что ли! —
Мне крикнул кто-то с корабля.

И мне не показалось странным,
Оставив школу и друзей,
Идти по трапу с чемоданом
Перед лицом Камчатки всей.

И было все обыкновенно:
Не в первый, не в последний раз
Я уезжал с отцом, военным,—
В дорогу торопил приказ.



Здравствуй, дорогая редакция!

Только что прочитала рассказ В. Богомолова «Зося».

Трогательная история любви русского лейтенанта к польской девушке Зосе потрясла меня.

Я знаю, что во время Великой Отечественной войны наша армия воевала на территории Польши и освободила ее. Но, кроме наших воинов, в освобождении Польши принимала участие и Польская Армия, сформированная на территории Советского Союза. Мой дед, который тогда был воентехником, тоже служил в Польской Армии как военный специалист.

Очень хотелось бы побольше узнать о том, как русские и польские солдаты рука об руку боролись против гитлеровцев.

Элисо БЕГАЛИШВИЛИ

г Тбилиси.

Мы попросили ответить на это письмо бывшего поручика 3-го Берлинского полка 1-й Краснознаменной Варшавской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко Михаила Игнатова, одного из многих советских офицеров-инструкторов, которые помогали в годы войны польским воинам. Сейчас Михаил Васильевич — кандидат филологических наук, критик и переводчик польской литературы.

«ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ»

В мае 1943 года в центральной печати появилось краткое официальное сообщение о том, что Советское правительство удовлетворило просьбу Союза польских патриотов о формировании в СССР польской дивизии имени Тадеуша Костюшко для совместной с Красной Армией борьбы против немецких захватчиков.

Этого решения с нетерпением ждали польские антифашисты, нашедшие убежище в нашей стране. Недаром редакция «Вольной Польски», газеты Союза польских патриотов, была завалена письмами читателей, выражавших горячее желание сражаться вместе с Красной Армией в своей, национальной части. Однако к ожиданиям примешивалась вполне естественная тревога. Ведь еще была свежа память о выводе на Ближний Восток польских дивизий, сформированных и вооруженных за счет СССР по договоренности с эмигрантским правительством Польши. И вот теперь порой брало сомнение: не исчерпан ли в Кремле кредит доверия для поляков?

Известный писатель, ветеран костюшковской дивизии Ежи Путрамент как-то рассказывал мне в Варшаве о тех днях большого ожидания:

— ...Наконец в квартире организатора Союза польских патриотов Ванды Василевской, где обычно собирался актив, зазвонил телефон. Ванда Львовна подняла трубку, и по ее вдруг просветлевшему лицу мы поняли: свершилось... Советское руководство отнеслось положительно к стремлению польских патриотов-антифашистов разделить с Красной Армией бремя борьбы. Нам было оказано огромное доверие. Невозможно описать энтузиазм, охвативший поляков. Приведу лишь один факт: двадцать девятого мая, то есть всего через двадцать дней после опубликования постановления в газетах, дивизия насчитывала более 15 000 добровольцев!

Путрамент помолчал, глядя в окно. Внизу мерно шумела Варшава, которую он освобождал вместе с дивизией, перекликались студенты расположенной по соседству Академии физического воспитания. А писателю, вероятно, чудились иные молодые голоса, которые звучали некогда на проселке, ведущем со станции Дивово к Сельцам, месту формирования. Люди шли и пели, ибо с каждым шагом приближались к осуществлению заветной мечты. Шли целыми семьями. Отцы и дети. Юная Анеля Кживонь с сестренкой Марысей заливались соловьями, дядя Франтишек вторил им баском. Четко, как в строю, шагали четыре брата-богатыря Пишчеки: Михал, Владислав, Юзеф и Казимеж. Владислав Высоцкий, вчерашний колхозный бригадир, вел свою бригаду в полном составе. Шли совсем еще мальчики братья Брох — Александр и Ян...

В дивизию принимали с восемнадцати до пятидесяти лет. И добровольцы, чей возраст не соответствовал указанному цензу, кто прибавлял себе два-три годка, а кто тщетно старался убавить десяток.

Добившись отправки на фронт после восьми месяцев службы в польском учебном полку, я присоединился к костюшковцам при прорыве Померанского вала. Тогда состав дивизии уже значительно обновился. Многие ее зачинатели превратились в легенду. И поэтому я завидую Путраменту, который знал первую плеяду героев-костюшковцев реальными, земными людьми, работал рядом с комдивом Зигмундом Берлингом и, говорят, подсказал идею — играть вместо уставной «зари» древний краковский хейнал.

...Серебристый звук трубы плыл и вдруг обрывался над берегами Оки, которая удивительно напоминает Вислу, о чем пелось в дивизионной песне. Здесь формировались три пехотных и артиллерийский полки, учебный и санитарный батальоны, зенитно-артиллерийский дивизион и пять отдельных рот: противотанковых ружей, разведки, связи, противохимической защиты и автомобильная. Костюшковская дивизия создавалась по штатам советской гвардейской дивизии. Ее заботливо обеспечивали не только всеми видами положенного довольствия и табельного имущества. В деловой переписке высоких инстанций, относящейся к тогдашнему периоду, фигурируют, например, и такие пункты:

«...направить для службы в дивизии им. Тадеуша Костюшко:

а) джаз-оркестр (вместе с инструментами), находящийся в распоряжении Комитета по делам искусств...

б) бригаду польских кинооператоров, находящихся в распоряжении Комитета по делам кинематографии...»

Но главное — и солдаты понимали, что это делается с мыслью о сокращении людских потерь,— дивизия буквально обрастала частями усиления.

По указанию Государственного Комитета Обороны сверх штатного расписания были укомплектованы, например, танковый полк и отдельная авиаэскадрилья. Затем эскадрилья превратилась в авиаполк «Варшава», а бронетанковый полк — в бригаду имени Героев Вестерплятте. (Напомню попутно, что популярные у нас герои польского многосерийного телевизионного фильма «Четыре танкиста и собака» служили именно в этой бригаде.)

Но как бы ни была масштабна картина создания дивизии (а всего десять месяцев спустя в СССР уже завершалось формирование целой Польской Армии), память обращается к боевому крещению костюшковцев. Первый бой они приняли 12—13 октября 1943 года на белорусской земле, под Ленино, во взаимодействии с 42-й и 290-й советскими дивизиями, солдаты которых уже потеряли счет боям. Но необстрелянные костюшковцы выдержали суровый экзамен.

Битва под Ленино была важным эпизодом начального этапа длительной и упорной борьбы за так называемый «Белорусский балкон», когда откатывающимся после летнего разгрома войскам фельдмаршала фон Клюге удалось закрепиться на заранее подготовленных рубежах перед Днепром. Узнав о появлении польской дивизии, гитлеровское командование приказало люфтваффе «повторить полякам 1939 год». Но, несмотря на массированные бомбовые удары и пулеметный обстрел с воздуха, костюшковцы упорно продвигались вперед. В боевых порядках находились все офицеры и политработники, заместители комдива — будущие генералы Войцех Бевзюк и Болеслав Кеневич. Не раз в трудную минуту советские бойцы спешили на выручку польским братьям по оружию. Актеры дивизионного театра и джазмены, переквалифицировавшись в санитаров, перевязывали и вытаскивали из-под огня раненых.

Дивизия выполнила боевую задачу — прорвала оборону противника, уничтожила ряд его опорных пунктов, в том числе особенно важный — на высоте 215,5. Кто-то верно подметил, что, овладев этой высотой, костюшковцы как бы оказались на виду у всей мировой общественности. С радостью услыхали о них в оккупированной Польше, где коммунисты организовывали всенародное антифашистское Сопротивление. Действительно, велико политическое значение битвы под Ленино. Польский солдат, вступив в бой на одном из решающих фронтов рядом с могучим и надежным союзником, открывал себе кратчайший путь на родину, который неизбежно становится путем к новой жизни.

Боевое крещение дивизии имени Тадеуша Костюшко, подвиги Героев Советского Союза Владислава Высоцкого и Анели Кживонь, первой и единственной иностранки, удостоенной этого высокого звания, политруков-коммунистов Мечислава Калиновского и Романа Пазинского, советского офицера-комбата Бронислава Ляховича и многих других костюшковцев, павших смертью храбрых на белорусской земле, стали уже достоянием польских поэтов и историков. Мне хочется здесь привести строки известного польского писателя Збигнева Залусского, сочетавшего проницательность историографа с подлинно поэтическим пафосом: «...благодаря польским залпам, гремевшим от Ленино и вплоть до Берлина, история Польши впервые окончательно и бесповоротно слилась с историей мирового рабочего движения и с историей социализма, с мировой историей. Той, которая отныне и вовеки будет летописью борьбы за мир».

Да, костюшковцы донесли до Бранденбургских ворот свое знамя, украшенное гордым призывом: «За нашу и вашу свободу», который провозгласил еще в XIX веке на митинге в память декабристов друг Герцена, польский революционер Иохим Лелевель.

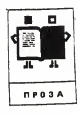
Костюшковская дивизия, 1-я Польская Армия, подчинявшаяся 1-му Белорусскому фронту, 2-я Польская Армия, входившая в состав 1-го Украинского фронта, отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. Им салютовала Москва...

Ленино, Ползухи, Тригубово, ныне переименованное в Костюшково, Люблинско-Брестская, Висло-Одерская, Восточно-Померанская операции, Дрезден, Берлин, Прага, форсирование Эльбы — таков послужной список Войска Польского. О ратных подвигах поляков и их советских инструкторов, всесторонней и бескорыстной помощи, оказываемой СССР нарождающемуся Народному Войску, в Польше создано немало интересных книг, эпиграфом к которым может послужить высказывание первого секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека: «Братство по оружию Советской Армии и Войска Польского навсегда скрепило дружбу наших народов». По этим книгам юность Польши учится любви к родине и верности идеалам польско-советской дружбы. Ветеранам они напоминают былые походы, советских офицеров-однополчан, не доживших до победы. Всего их погибло в рядах Войска Польского — 1049.

Для меня, прослужившего в костюшковской дивизии два года, чтение этих книг — тоже путешествие в военную молодость. Листаю страницы документальных повествований и мемуаров. С иллюстраций смотрят знакомые лица: командарм-1 генерал Станислав Поплавский, его заместитель по политической части полковник Петр Ярошевич, ныне Председатель Совета Министров ПНР, командарм-2, участник Октябрьской революции и боев за республиканскую Испанию генерал Кароль Сверчевский (который, запечатлен Эрнестом Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол» под именем генерала Гольца), командир разведвзвода подпоручик Войцех Ярузельский, ныне генерал армии, министр Национальной обороны ПНР, бывшие сержанты и рядовые, что умножают теперь на полях и заводах мирную славу своей освобожденной родины. А вот и ребята из нашего батальона. Не такие, как теперь,— солидные полковники, а худенькие пареньки в выгоревших гимнастерках, хорунжие да подпоручики. Узнаю: фотографировались в Бялой Подляске...

А однажды довелось встретиться... с самим собой. В одной из книг приводилась цифра потерь 1-й Краснознаменной Варшавской дивизии имени Тадеуша Костюшко в Берлинской операции. Я же был ранен в третий, последний раз именно тогда и, следовательно, входил в указанное число. Так невзначай можно обнаружить и свой след в истории, свою каплю крови, пролитой за общее дело.

М. ИГНАТОВ, дивизионный нагрудный знак — «Одзнака костюшковска» № 006800







Семен
ЛАСКИН

ЛЕСТНИЦА

ПОВЕСТЬ

На школьных выпускных я была уверена, что в институт не пойду: не попасть. А как только сдала экзамены, решила сделать попытку. Юра уговорил.

Повезли мы аттестаты в медицинский, а по дороге — институт культуры. Обсудили по-быстрому. Для женщины этот вроде бы в самый раз, тем более что особых желаний насчет профессии у меня не было. У Юры другое дело: он с шестого класса мечтал стать доктором.

Экзамены сдавала — сама поражалась: пять и четыре. И вдруг на английском схватила трояк.

А все же человек так устроен, что оптимизм в нем побеждает. Решила ждать окончательных списков, авось произойдет чудо.

Мама напряглась, как струна.

Живу я большей частью одна, а мама у Георгия Борисовича, у Алика, как его все называют. Но тут она стала приходить домой каждый вечер. Делает что-нибудь и вздыхает, будто вся ее и моя жизнь поставлена на карту.

Из-за этой взвинченности разговаривать мы фактически не могли. Я ложилась на диван, открывала журнал или книгу, читала. Спросит — отвечу. И опять молчим.

Последняя повесть, которая мне попалась, была про акселератов — так нас называют в научной литературе. В нашем классе акселератов нет. Вот в девятом «А» акселерат — метр девяносто четыре; он с пятиклассниками в пристенок играет. Лапища — во!

Другое дело, если на эту проблему смотреть глазами пятиклассников, играющих с девятиклассником. Появляется некоторая убедительность.

И все же взрослый человек — это взрослый человек. Без позы, без постоянного желания казаться замеченным. Меня всегда к взрослым тянуло. Бывало, придут мамины подруги, «девочки», как они называют друг друга, из экскурсбюро, и у каждой своя история. Сиди помалкивай, слушай.

Кто-нибудь вдруг заметит меня, удивится:

— Потрясающая у тебя, Анна, дочь. Есть ли она, нет, не чувствуешь. У других дети в каждое слово встревают, а твоей вроде и дела нет.

Может, поэтому главная моя подруга Вера на шесть лет меня старше. Четкий она человек. Решения Вера принимает быстро и окончательно, и, если уж ты идешь к ней за советом, то не жди утешения, она их не признает. Утешитель, повторяет она, может всю душу выесть своими утешениями, а легче не станет. Только сильный и уверенный человек может помочь в беде.

Когда я с институтом решала, то к ней не пошла. Ответ и так ясен. Сама Вера работать начала после школы. А институт? По ее мнению, туда слишком много людей поступать хочет.

Другое дело — Юра, говорит она. Всегда он только об этом и мечтал. А ты? Лучше для тебя и для государства, если ты провалишь. Желаю тебе этого от всего сердца.

В дни экзаменов я старалась с ней не встречаться, да и она не заходила ко мне,

Рисунки
В. КРАСНОВСКОГО.

понимала, что не нужна. Теперь в ее помощи появилась некоторая необходимость. Особенно сегодня. Утром, объявили, должны будут повесить окончательные списки.

Маме об этом я, естественно, не сказала: зачем нервировать? И она с вечера собралась к Алику: его тоже нельзя оставлять без присмотра.

Ночью меня замучили сны. Кто-то будто бы стекло разбил, я шлепнулась и сломала ногу. Сижу на полу, а нога в стороне, как у куклы. Не больно до удивления.

Полвосьмого встала, чаю не захотела выпить, пошла на набережную.

Свежо на улице. Туманно. Клочки белой сырости висят над Невой, над самой ее поверхностью.

Почти исчез, растаял на том берегу Смольный. Машины идут медленно, с включенными фарами, сворачивают на Охтинский мост.

Я постояла рядом с пенсионером-рыболовом, подождала, когда у него начнет клевать; вернулась к дому. Веру не упустить бы, вот главное. Юру не вызовешь, у него на днях последний экзамен.

Села на парапет, гляжу на наш дом. Вера должна выскочить из правого подъезда.

И действительно. Распахнулась дверь с треском, и на крыльцо выскочила Вера. Сбежала по ступенькам. Метнулась через дорогу.

Я крикнула ей. Обернулась. Махнула рукой, мол, некогда, догоняй. Откусила яблоко, бросила огрызок в сторону, зашагала по набережной. Высокая, с прямыми мужскими плечами, гибкая, как баскетболистка.

Лет пять назад, хотя я и была маленькой, но помню, как Веру табуны мальчишек поджидали. Кто умеет — закурит при ней, показывает, что уже взрослый; кто транзистор включит. Она выйдет — волосы развеваются, ноздри раздуты,— огреет их словом, а они хоть бы что, только гогочут. Картинка!

А вот теперь поредели поклонники, потише стало. Наконец я ее догнала.

— Сдаешь? — спрашивает.— Или провалила?

— Результаты сегодня, но, вероятно, не попаду. Скосила на меня взгляд, усмехнулась.

— Помидор хочешь?

— Давай.

Сунула руку в сумочку, пошарила там, достала один, подумала и кинула обратно.

— Другой поищу, поменьше. Мне нужно обедать.

Из-за угла вывернул автобус. Вера вытерла платком руки, раздвинула толпу, приготовилась к штурму.

— К нам пойдешь?

— Кем?

— Директором.

— Нет, правда?

— А подсобницей не устраивает?

В моем голосе была тоска:

— Возьмут?

— Попрошу — возьмут.

Автобус остановился. Дверь прижимали изнутри спинами, и она долго раскачивалась, будто бы автобус тяжело дышал жабрами. Наконец, распахнулась с треском.

Вера оттеснила мужчину. Ее рука нащупала точку опоры. Рывок! И она боком вошла в автобус.

— Зарплата шестьдесят пять ре плюс семнадцать пятьдесят прогрессивка!

Двери не закрывались, автобус не отходил. До меня доносился укоряющий голос водителя.

Я отступила. Вера уже сидела у окна, улыбалась.

Мелькнула в воздухе ее проездная карточка, этакий небрежный жест вроде привета.

Автобус, наконец, сдвинулся с места.

Я невольно зажмурилась и отвернулась от списка: неужели попала?

Савельева Екатерина. А я Савельева Любовь. Значит, все законно, чуда не произошло.

А вокруг — море слез. Какая-то конопатая девчонка, от горшка два вершка, шмыгает носом. И тут же рядом двухметровый счастливчик — попал, черт побери! — издевательски хохочет.

Еще раз проверяю список. Чей-то указательный палец опускается все ниже и ниже по строчкам, медленно, с остановками.

Больше мне здесь нечего делать, пора забирать документы.

Канцелярия набита неудачниками. Встаю в очередь.

Грустный общественник-второкурсник — одно плечо выше другого — глядит на меня скорбным взглядом, идет за аттестатом. Скорбь в его походке, точно подносит мне урну с прахом. Милый, прекрасный человек! Одно присутствие такого успокаивает. И ведь сам-то не титан. В колхоз не поехал, от физкультуры освобожден — это сразу понятно.

Улыбнулся тихо, как ангел, попрощался за руку, задержал на секунду ладонь, дал мне почувствовать тепло собственного сострадания.

— Не отчаивайтесь, девушка,— сказал добро.— Может, все к лучшему.

Повернулся к другому — лопатки выпятились, точно крылья. Не вспугнуть бы, а то окна распахнуты, улетит.

У автомата очередь. Пора звонить маме.

Широкоплечий парень с грустным лицом что-то кричит в трубку. Сразу видно, коллега по судьбе. Шмякнул трубку. Саданул дверью.

Теперь моя очередь.

Сама себя не узнала в стекле телефонной будки: маленькая старушка расстроенно поглядывает, ждет.

Нет, не мамин это голос. Сони — одной из маминых «девочек». Господи, хоть бы не узнала меня! Начнутся расспросы.

— Любочка, здравствуй! Как у тебя экзамены? Вот и вся конспирация.

— Только что получила свободный диплом, Софья Семеновна.

Ее как сдуло. Теперь нужно ждать маму.

— Люба? Почему ты звонишь? Что случилось?

— Из института я. Нету меня в списках.

— Как нету? Должна быть. Ты же сдавала!

Это уже чисто нервное. И тут она начинает что-то бормотать про свою жизнь, всхлипывать.

А очередь растет, мне стучат в стекло, требуют поспешить. Можно сказать, выбрала я для разговоров лобное место.

Бреду вдоль Невы. По Литейному мосту катится троллейбус, держится рогами за провода, хорошо ему, прочно, путь проложен на весь маршрут.

Какие-то парни решили повеселиться, окружили меня, замкнули в кольцо, хохочут.

— Отпустите! — кричу.— Что пристали?

Вырвалась и, как шальная, метнулась через мост. Слышу, звенит колокольчик. Что-то проскрежетало почти по спине, шагнула — и машина.

Как на тротуаре оказалась, не помню.

— Вам, девушка, жить надоело? — Это милиционер уже за локоть меня держит.

— Возможно...

— Рубль штрафа вас, надеюсь, не разорит?

Я стала по карманам шарить чтобы от милиционера отвязаться, но, кроме трамвайных талонов, ничего не нашла.

— Придется пройтись,— говорит.— Квитанцию я уже оторвал, не приклеивать же мне ее обратно.

Чувствую, хочется ему, чтобы я поканючила: им тоже лень каждого в милицию таскать. А я зубы стиснула — злюсь.

— Ну что вы побежали? — спрашивает мягче.— Шли спокойно, я же за вами давно наблюдал.

Я на секунду забыла, что это милиционер, сказала зло:

— В институт провалилась, понятно?

— Вот в чем дело! — В глазах отразилось явное сочувствие.— Я после армии тоже не сразу попал. Срезался на последнем. Вышел, помню, из института, не знаю, куда дальше идти. Вы-то домой, наверное, спешите, а у меня и дома не было...

Кажется, в эту секунду я его рассмотрела. Уши в разные стороны, фуражка глубоко села на лоб, нос широкий с веснушками.

А вот глаза веселые, живые такие глаза. И улыбка приятная. Я даже удивилась, как это человек с такой улыбкой в милиции работает.

— ...И в эту минуту какой-то парень мне говорит: там, мол, из милиции тебя спрашивают. Думал, разыгрывает. Оказалось, правда. Дали общежитие, зарплата пошла, институт пообещали заочный...

Так мы дошли до трамвайной остановки. Он остановился, вынул квитанцию, положил ее на планшет, написал свою фамилию, адрес и телефон.

— Позвоните, если скучно станет.

Взяла листок, а там типографски отпечатано: штраф о д и н р у б л ь.

— Дорого,— говорю,— вам наша встреча обошлась.

Он засверкал зубами.

— Давайте,— говорит,— лучше познакомимся. Меня Игорь зовут, а если будете звонить по служебному, то просите Игоря Петровича. А вас как?

— Люба.

Хотела я к трамваю бежать, но он сжал мой локоть, не отпускает.

— Осторожнее. Видите, красный.

Дождался зеленого, а тогда отпустил.

— Вот теперь я уверен, что ваша жизнь в безопасности.

Трамвай ползет к дому невероятно медленно. Как же пенсионеры-то живут со своим бесконечно свободным временем?

Мама наверняка уже дома, бросила, конечно, работу, примчалась на такси, да, вероятно, и Алика высвистала. Мне еще тоскливее стало. Папочка на мою голову. Самозванец. Лже-Дмитрий. Сколько за эти дни выслушать всего предстоит! И отчего это люди разобрались так здорово, что хорошо, что худо?

Вошла во двор. Чисто, тихо. Как дети и собаки на дачи выехали, так двора не узнать.

На скамейке отец и сын Федоровы.

Наше окно открыто. Или я не закрыла, или мама действительно уже дома.

Идти не хочу. Уселась против Федоровых, черчу прутом на песке, тоска страшная.

Федоровы переговорили между собой о чем-то, уставились на меня. Странные люди! О них всякое рассказывают. Наш дом заселен уже лет восемь. Я их с первого дня запомнила, но не общалась. Со старшим это и невозможно. Сидит на скамейке, взгляд мутный, обращен внутрь. Здоровайся с ним, не здоровайся — он внимания не обратит. Младший Федоров живее, приветливее. Мы в лифте даже улыбаемся друг другу. Да и теперь он меня приветствует.

А что если подойти к ним и все рассказать? Знаете, я в институт не попала, что посоветуете?

Они будто бы и действительно меня ждут, застыли. Как похожи они друг на друга! Тощие, высокие, бородатые. Сын не такой седой, как отец. И глаза теплее.

Младшего Федорова Владимиром Федоровичем зовут, а старшего — Федором Николаевичем.

Поднимаемся недавно в лифте, а старик пристально смотрит на меня, будто бы вспоминает, будто сравнивает с кем-то. Потом вдруг протягивает руку и гладит меня по плечу.

— Хорошая,— говорит,— девочка. Доброе лицо.

Вот уж никому такого и в голову никогда прийти не могло.

Сын перепугался, отвел его руку.

— Где это мы с тобой раньше встречались? — спрашивает Федор Николаевич, словно не замечая испуганного жеста сына.

Я чуть не рассмеялась. У нас в классе тоже один так с девушками знакомился: где, мол, я раньше мог вас видеть?

— Здесь,— говорю,— в лифте.

Он поглядел с недоумением.

Сын торопливо распахнул дверь, вытянул его из лифта.

Я потом Валентине Григорьевне, Юриной маме, рассказала об этой встрече в лифте. Она очень забеспокоилась.

— А может, они душевнобольные, Люба... И младший, пожалуй, страшнее старшего. Тихий, блаженный, а что у него внутри — поди разберись.— Она долго ходила по комнате, что-то обдумывая, потом заключила: — Я очень тебя прошу, Люба, будь внимательна и серьезна. Если что — сигнализируй. Я в психодиспансер позвоню, не нравится мне эта пара.

Я отмахнулась, но Валентина Григорьевна настаивала:

— Ты, девочка, фактически одна живешь, и я, раз уж ты с Юрой дружишь, для тебя вроде бы вторая мать.

— Да почему вы к ним так плохо?

Валентина Григорьевна вздохнула.

— Доверчивая ты, Люба... Оба не работают, раз. Ну, старик, может, и пенсионер, а сынок? Ему сорок лет, а он папашу трижды в день на прогулки выводит... И ни разу его в обществе женщин я не видела. Это уже факт патологический, поверь мне как врачу. С этим делом, я уже давно для себя решила, если что-то не так — ищи болезнь. Я, Любочка, человек трезвый и окружающих призываю постоянно к трезвости, чтобы легче жить.

Последней фразы я уже ждала. Любит она собственную трезвость в разговоре подчеркивать. Возможно, это действительно сильное ее качество.

Я тогда Юре сказала, чтобы он Валентину Григорьевну попросил никуда не звонить, но он встал на ее сторону. Она, мол, хорошего хочет, зачем же мешать этому.

...И вдруг я подумала, что мне как раз в эту минуту разумный, спокойный и трезвый человек необходим. И даже если Юра не подойдет к телефону — понять можно,— то сама Валентина Григорьевна будет мне полезна.

Пока набирала в автомате номер, за Федоровыми поглядывала.


БИЛЕТ №6
Билет №14
БИЛЕТ №
The 3

Недалеко от них дворничихин пес резвился, жуткий трус, от людей обычно так и шарахается. А здесь подбежал вприпрыжку, встал на задние лапы, дал старику почесать за ухом, а потом открыл пасть и давай стариковский палец прикусывать — собаки так выражают свое расположение.

Трубку сняли, я узнала Валентину Григорьевну.

— Люба? — сказала она.— Подожди, дверь прикрою. Юра занимается.— Вернулась.— Ну, как дела, отчитайся.

У меня, видимо, голос дрожал, когда я ответила.

— Грустно,— после короткого молчания заключила Валентина Григорьевна.— Но не смертельно. В конце-то концов тебе не в армию, поработаешь год.— Она что-то обдумывала.— Пожалуй, я позову Юру. Твоя неудача будет и для него грозным предупреждением.— Опять помолчала и вдруг говорит: — Стой на набережной, я его пришлю на десять минут. И не больше. Живой пример действует нагляднее.— И повесила трубку.

Трезвый она, конечно, человек, но в данном случае я была ей благодарна. Не надеялась Юру увидеть.

Перешла дорогу, остановилась у парапета. И тут он выскочил на улицу. Огляделся, поискал меня взглядом, махнул рукой. И будто бы полетел в мою сторону. Красная рубашка трепещет на ветру, шея худая, ноги длинные — аист! Вытянулся в струнку, вот-вот взлетит. Подлетел, провел пальцем по лицу — это он часто делал,— поцеловал.

Видимо, эти десять минут как раз кончились. Мы еще и слова не сказали, а Валентина Григорьевна тут как тут.

— Перерыв,— говорит,— завершен. Люба получила достаточно доказательств твоего сочувствия.— Взяла Юру за ворот и вроде бы шутя подтолкнула к дому.— Учись! — говорит.— Не захотите же вы целый год вместе на парапете сидеть?

Остались мы с ней вдвоем. Облокотились на парапет, глядим на воду. Нева в каменном мешке — шлеп, шлеп,— успокаивает как-то.

— О чем думаешь, Люба?

Мама была бы неспособна сейчас вот так просто и спокойно говорить.

— Как вам сказать,— отвечаю.— Есть у меня сомнения. Может, и справедливо то, что я не попала? Не было у меня призвания.

Она покачала головой.

— Вредная мысль. Ты такое из головы выбрось. Я призвание не отрицаю, но аппетит, поверь, приходит во время еды.— Она эту фразу еще раз по-французски повторила.— Работай добросовестно, вот и все призвание, это я тебе как трезвый человек заявляю. И чем лучше ты будешь трудиться, тем значительнее уважение к тебе. А призвание в том смысле, в каком ты понимаешь, — ерунда. На голову оно не сваливается...— Она поглядела на меня иронично.— Я ведь когда-то на эстраде пела. Голос у меня был прелестный. Потом встретила Леонида Сергеевича, и он не захотел, чтобы я разъезжала по гастролям, ревновал. Заставил меня пойти в медицинский. Закончила. Стала работать. Больные меня раздражали, скажу честно; занялась санитарным просвещением, потом заменила как-то главного врача поликлиники — получилось. Нашли, что есть у меня административная жилка. С той поры заведую...— Она поглядела на часы, охнула.— Пора Юру кормить! Взяла отпуск на время экзаменов. И, знаешь, он поправился на два кило. Вот что значит рациональная организация труда.— Ударила меня по носу указательным пальцем, предупредила:— Не расстраиваться, девочка! Усекла?

Я сказала бодрее:

— Усекла, Валентина Григорьевна! Спасибо.

Федоровы так и не ушли со своего места. И пес не ушел, бегал по садику, вилял хвостом.

Они будто бы меня ждали. Поднялись, как я только вернулась с набережной, и побрели к парадному.

У лифта Владимир Федорович пропустил меня вперед, закрыл дверцу кабины.

— Хороший сегодня день, правда? С улицы уходить не хочется.

А старик глядит прямо в лицо, глаза тревожные, красные. И вдруг ни с того ни с сего говорит:

— Положитесь на время, девочка. Не огорчайтесь. Время — лучший целитель...

Владимир Федорович торопливо распахнул дверь, опять потянул отца за рукав. Точь-в-точь, как тогда.

Я нажала кнопку своего этажа и в ту же секунду увидела в окошечке глаза старика.

— Счастливо! — крикнул он.— Все дело во времени!..

Мамы не было. Я доела все, что оставалось в холодильнике, прилегла на диван. Где же она? Наверное, ждет подкрепления, не хочет без Алика разговаривать в такой момент. Все дело в том, что в последние месяцы мы с ней на равных стали, можно сказать, подруги.

Как-то так получилось, что о маме мне еще и рассказать не пришлось. Во-первых, мама человек бесхитростный, добрый, молодой по духу да и внешне. Больше тридцати ей никто не давал, даже начальник отдела кадров однажды удивился, когда сосчитал, что ей тридцать девять.

В управлении, где она работает старшим экскурсоводом, подруг у нее человек семьдесят, и все они, как я говорила, называют друг друга девочками.

Возраст у «девочек» разный: от двадцати двух и выше. Работают они научными (вот что понять сложно!) сотрудниками и экскурсоводами. В их комнате всегда весело и шумно.

Чего только не услышишь! И о любви, и о покупках, и о делах родственников. Все обсуждается досконально, с полной заинтересованностью.

Замужних мало. Почти нет. Я знаю только директора. Впрочем, ее не учитывают. Директор — официальное лицо. При ее появлении все стихают и даже за глаза называют по имени-отчеству.

Некоторые «девочки» были замужем. Остальные готовятся замуж — их большинство.

Мамина жизнь сложилась иначе. Мама у них как бы особняком. И при желании ее можно отнести и в ту и в другую группу одновременно.

Дело в том, что вот уже девять лет мама связана с Аликом — Георгием Борисовичем Росточкиным — самыми прочными и серьезными узами. Фактически он мамин муж, а мой отчим. Все это давным-давно поняли и признали, но...

Алик постоянно борется за свою независимость, как он говорит, за свободу, и поэтому не закрепляет отношения официально, что, конечно, огорчает маму, заставляет ее постоянно тревожиться за свое будущее. А для женщины, если я правильно понимаю маминых «девочек», будущее имеет первостепенное значение.

Что было у мамы раньше, не знаю. Но наверняка ничего легкого.

Отца не помню. И вообще, кроме дедушки, никто нам не помогал. Мама где-то работала, а вечерами училась, а я то в круглосуточном, то на продленке.

На Алика я вначале внимания не обращала. Приходил к нам всегда тихий, застенчивый, садился к телевизору. Не очень-то он был разговорчивый в то время. А мама начинала нервничать да покрикивать на меня без всякой к тому причины. Сходи в булочную! Ставь чайник! Накрывай стол!

Я просто поражалась, чего она вдруг?

Особенно меня в Алике возмущало, что он приходил в гости с пустыми руками, даже цветочка не принесет. Мамины «девочки», Лариса и Соня, чего только не притащат, если вечер у нас хотят провести, понимают, на всех не напасешься. А Алик войдет, улыбнется, подергает меня за нос — это жест дружеского расположения,— повесит пиджак на спинку стула и сядет к телевизору, будто бы так и нужно.

Я однажды поставила на стол кофе и говорю:

— Торта не хватает. Никто не догадается принести...

Не от жадности я это сказала, а чтобы Алика проучить. Он сразу обиделся.

Мама тут же сделала выговор:

— Некрасиво, Люба. Если ты торт хотела, могла купить, булочная рядом.

Есть у Алика и хорошие черты. Аккуратный: выглаженный всегда, выбритый. У него свой портной. Свой парикмахер. Свои официанты в своих столовых. Свой театральный кассир. И это не от стремления к выгоде, а от пунктуальности и постоянства. Люди, как я поняла, такую привязанность ценят.

Как-то Лариса сказала:

— В наш век таких постоянных, как Алик, мало. Он не расписывается, Анна, с тобой, потому что не может менять установившийся порядок жизни. Но раз уж ты в сфере его привязанностей, не волнуйся, никуда он деться не может. Принимай жизнь такой, как она есть. Не трепыхайся. Если присмотреться, в его системе есть гарантия прочности.

Ссорилась ли мама с Аликом за девять лет — не знаю. Но несколько раз они расходились. Было, к примеру, такое: уезжал он вроде бы в командировку, а мамины «девочки» видели его на улице и не одного.

На маму в те дни больно было глядеть. И когда он снова стал бывать у нас в доме, а мама — у него, я не выдержала и спросила:

— Чего вы, Георгий Борисович, ищете? Поглядите, какой преданный человек с вами.

Он промолчал. А перед прощанием отвел меня в сторону и сказал:

— Я, Люба, человек свободный. И свободой дорожу. Мама у тебя тоже свободна. Неужели ты думаешь, что в других условиях мы будем больше счастливы? — Он помолчал немного и прибавил: — А потом, кто один раз разводился, тому не просто сделать второй шаг.

На следующий день мама пришла домой грустная. И вдруг спросила:

— Ты... ничего лишнего Алику не сказала?

Я ответила уклончиво:

— Чего это ты?..

— Не знаю,— говорит.— Но он мне сказал, что хотел бы немного один побыть, без людей... Странно все это...

Потом все образовалось. Мама повеселела и успокоилась, но я крепко запомнила эти дни. Да и Алика сильнее зауважала. А вдруг для него такое чувство свободы необходимо? Именно чувство, а не сама свобода. Какая же у него свобода в одиночестве, если самому приходится белье носить в прачечную, и обеды готовить, и квартиру прибирать. Тут-то я поняла его характер, и даже странная уверенность появилась у меня, что если женщине нужно чувство несвободы, даже чужой власти, то мужчине необходимо чувство свободы. И когда я это маме сказала, то она со мной согласилась.

— Здорово ты подметила. Мы с девочками эту мысль обсудили и пришли к согласию, что семья разваливается тогда, когда жены дают свободу мужьям, а им достаточно чувства свободы. А то и наоборот даже: они лишают их этого чувства, и тогда происходит взрыв, революция.

Не знаю, кто маму научил так философствовать, может, она стала в эти дни больше читать?

Я вроде бы не засыпала, но когда увидела маму и Алика, то удивилась до чрезвычайности.

Выглядел Алик торжественно: в зеленом костюме, в зеленом галстуке, в бежевой полосатой рубашке, а мама — как в трауре, даже черный платок на голове. Да и дверь она никогда так тихо не открывала. А тут неслышно, бочком, словно на похоронах.

Алик повесил мамин плащ в передней, пропустил вперед.

Сели.

Я решила не опережать событий, послушать.

Алик чиркнул спичкой, закурил. Дунул папиросным дымом в потолок, заметил мамино недовольство, открыл окно и уселся боком на подоконник.

— Ну,— сказала мама.— Что будем делать? — И заплакала.

Наверное, я этого не ожидала. Что-то сдавило горло, подкатилось к глазам, и пошло...

Она, конечно, меня жалела, а я, если честно, ее.

Неустроенная у меня мама, беспомощная. И с Аликом у нее нет покоя. Какой же это покой, если он только о своем чувстве свободы думает, радуется, что нет у него настоящей семьи, а так — налаженный быт. Ну кто ему еще нужен? Трудно у нее получается все, у «девочек» легче. Непрактичный она человек.

Тетя Лариса разочаруется в ком-то, выговорится на работе, отведет душу, а на следующий день снова, как стеклышко. И кто-то всегда с ней рядом, редко одна бывает. А мама все с Аликом, с Аликом, и он знает, что она только его любит, вот и показывает характер.

Я вдруг разозлилась, что они и тут вместе пришли. Кто его звал? Кому нужно участие чужого, эгоистичного человека? Были бы мы одни, выпили бы чайку и проболтали бы половину ночи.

Мама повернулась к зеркалу, попудрила нос, сказала спокойнее:

— Нужно нам, Люба, с тобой обсудить, что дальше делать...

Я плечами пожала.

— Работать пойду, какие сложности.

— Куда? — Прошлась по комнате, собрала раскиданные мною вещи.— Я сейчас с девочками советовалась, Лариса обещала у кого-то спросить... Не в музее же тебе сидеть с пенсионерками.

Алик потушил сигарету. Он будто бы ждал, когда ему дадут слово.

— Разрешите постороннему?

Я подумала: посторонний — так он посторонний и есть, что с него взять.

— Я разговаривал с начальником нашего конструкторского — это сразу после твоего, Аня, звонка,— дочь, сказал, не поступила...

Мама аж побледнела, глаза стали огромными, ноздри раздулись.

— Он попросил Любу зайти...

Наступила тишина, которой на этот раз действительно подходит определение гробовая.

А у мамы такое растерянное лицо! И хочет и не может она поверить своему счастью. Ну, что ей тут скажешь, самой большой и самой доверчивой девочке из всех «девочек» экскурсионного бюро, не убедишь же ее, что все равно Алик предпочтет свободу; не так легко дождаться от него справедливости.

— Спасибо,— говорю вежливо,— Георгий Борисович, но мне, думаю, проще не у вас в ЦКБ работать. Дочь — это же лишние для вас разговоры. Все знают, что вы человек независимый, будут мне вопросы задавать.

Он помолчал немного, согласился.

— Ты, конечно, права,— говорит.— Но я думаю, нужно устроиться, а тогда я тебя в племянницы перепишу.— Он улыбнулся.— Сделаю вид, что меня не поняли, я говорил о дочери двоюродного брата. Главное, чтобы ты хорошо работала, тогда людям будет не так важно, кем ты приходишься мне.

— Да, да, да,— что-то забормотала сбитая с толку мама.

Я разозлилась. Он и здесь умудрился обидеть ее.

— Значит, я вам буду двоюродной племянницей, это тоже нужно запомнить.

Он опять улыбнулся, сказал уклончиво:

— Какая разница кем? Главное, как я к тебе отношусь.

— Конечно,— говорю, а сама на маму поглядываю.— Только я уже с Верой о работе договорилась, так что не стоит хлопотать. Спасибо.

Мама ахнула.

— Неужели в сапожную мастерскую?! — Теперь она искала защиты у Алика.— Люба, подумай, чему ты там научишься? Иди лучше на завод, к станку, руки у тебя есть.

— Да какая же разница! — отмахнулась я.— А Вера обещала подготовить из меня приемщицу, получится, говорила, рублей сто в месяц.

— Дело не в деньгах,— сказал Алик.

— И в них.— Я взъелась.— Мы с мамой одни. Ей и одеться нужно. Как давно, мама, ты не шила себе платья.

Алик прошелся по комнате, он делал вид, что мои реплики не имеют к нему отношения.

Засвистел чайник. Алик бросился на кухню, а у мамы на лице появилось злое выражение.

— Зачем ты? — зашептала она.— Подумает, что я хочу больше, чем он дает...

— Ничего он тебе не дает,— отрезала я.— Ну, чего он явился?

— Ради бога! — перепугалась мама.— Он же с чистым сердцем. Ты слышала, как он тебя назвал? — Она постеснялась повторить: «дочь».— А потом,— уже тише и просительнее сказала мама,— ты взрослая, Люба. Выйдешь замуж, а я останусь одна. Алик ведь меня любит.

— Так не любят, — решительно сказала я.

— По-разному любят,— вздохнула мама.

Алик внес чайник, и мы замолчали.

— Ну, девочки,— он зазвенел чашками, поставил их рядом, стал наливать заварку.— Выпьем чаю за новый Любин этап.

Снял пиджак, галстук, нашел вешалку и аккуратно все это повесил. Потом пригласил нас к столу.

— Жаль, что в таком молодежном доме нет ничего более крепкого!

— Могли бы и захватить,— буркнула я.— Напротив в магазине сухое вино — девяносто семь копеек бутылка.

Он доброжелательно хохотнул.

Мама ногой придавила мою туфлю: это была мольба, просьба сохранить любой мир.

Утром я дала Вере свое окончательное согласие. Она сказала: «Не пожалеешь»,— и пообещала вечером сообщить, когда прийти оформляться.

Потом я снова проводила ее до автобуса. Домой возвращаться не хотелось, и я поехала к маме, тем более что вчера нам с ней не удалось толком поговорить из-за Алика.

Экскурсионное бюро находилось прямо в саду, в небольшом историческом домике, шедевре архитектуры восемнадцатого века, имеющем название «Кофейного». Это было странно, так как мне казалось, что только последние годы он свое старинное название начал серьезно оправдывать.

Кофе в домике начинали варить буквально с утра, для этой цели у «девочек» имелось самое современное оборудование: кипятильники, кофеварки разных конструкций и джезвы. Баночки с кофе стояли на столах, лежали в ящиках, среди садовых циркуляров и научных фолиантов, а кофе пахнул на много метров окрест.

Надо сказать, что мамин Сад — одно из красивейших мест города. Особенно я люблю его ранней осенью, когда начинают опадать листья и дорожки устилаются легким, шелестящим ковром. А если задержишься здесь к ночи, когда на набережной зажигаются фонари, то мертвенный свет от них пробивается сквозь ветви, и ты вдруг замечаешь застенчивые, внезапно застигнутые холодом голые фигуры мраморных богинь.

Много раз я засиживалась здесь одна, пряталась где-нибудь на боковой скамейке от ночного сторожа, а потом, когда сад пустел, поднималась и подолгу бродила по его дорожкам. Далеко позванивал трамвай, Нева едва слышно омывала камни набережной. Похрустывали под ногами случайные мерзлые ветки.

Пожалуй, утром я здесь никогда еще не была. Сад показался сонным. Сторож стоял неподвижно у входа, глядел в одну точку. Лебеди замерли на воде. А на скамейках разместились пенсионеры, еще не разговорившиеся между собой, полупроснувшиеся, с застывшими лицами. Старая привычка к раннему пробуждению механически вынесла их из жарких комнат, и теперь они пытались продолжить оборванный сон.

Кофейный домик пока не пахнул кофе, там никого не было. Все заперто и покойно. Сад еще не жил музейной жизнью, а только готовился к ней.

Я отошла на дальнюю скамейку — отсюда был удобный обзор.

Первой промчалась Лариса. Голова откинута, профиль четкий, будто бы его ножницами вырезали, волосы с золотистым блеском, развеваются, как флаг.

Протопала, проскакала Соня, Софья Семеновна. Ларисин антипод. Глядя на нее, все хочется называть уменьшительными именами: носик, губки, ротик. Удивится она или обидится — сложит губки бантиком, носик вздернет, обнажит два небольших передних зубика — типичный кролик. Единственно, что у Сони значительное,— волосы. Черный шар мелких кудельков. Мама не раз советовала ей прибрать волосы, стянуть ленточкой, чтобы не торчали. Не хочет. Это, говорит, делает мое лицо особенно оригинальным, так я похожа на Анджелу Дэвис.

Экскурсии они ведут с Ларисой по-разному.

Лариса говорит свободно, фразы короткие, ясные, жест широкий. Не жест, а взмах. Поднимет указку — не экскурсовод перед группой, а полководец. Я всегда восхищалась ею.

У Сони иначе. Протарахтит быстро-быстро, прыгнет в сторону. Скажет что-то еще и опять прыгнет. Вроде кенгуренка. Но самое главное — текст своей



экскурсии она уже так знает, что пока группу ведет, о чем только не передумает: и что купить на ужин, и куда завтра сходить. Вроде бы две Сони существуют: одна говорит, а вторая, не мешая первой, думает.

А вот и мама! Промчалась мимо, поглядывая на часы: директор терпеть не может, когда сотрудники опаздывают.

Я снова пожалела, что не на маму похожа, а, видимо, на отца. Красивая она! Выше меня, что, как известно, нетипично для нашего времени, когда все нормальные дети гораздо выше своих родителей. С Соней, конечно, не сравнить, но Юра легко меня под мышкой прячет. И ноги у мамы стройные, подъем высокий, как у балерины, а у меня с детства плоскостопие, и я из-за этого предпочитаю туфли без каблуков. С каблуками-то красивее, понимаю, но если надену, то к вечеру не знаю, куда ноги пристроить, — гудят.

Дунул с Невы ветер, и до меня долетел острый и приятный запах кофе. Значит, работа в домике началась. Приоткрыла дверь — все штепсели включены, кипятильники работают, идут утренние приготовления.

Лариса первая увидела меня, обрадовалась.

— Будешь кофе?

— Выпью.

Мама подняла глаза и тут же принялась листать бумаги.

Я присела рядом.

— Ну? — спросила она.— Что надумала за ночь?

— Ничего нового. Я уже Вере дала согласие.

Она откинулась на спинку стула, поглядела на меня с осуждением.

— Чему ты у сапожников научишься? Да и Вера — на шесть лет тебя старше, какая же пара...— Не закончила, махнула рукой.

Подошла Лариса с джезвой, поставила ее на пепельницу, чтобы не испортить стол, присела сбоку.

— Идет работать в сапожную мастерскую,— пожаловалась мама.

Лариса налила чашку, отхлебнула глоток, кивнула. Ко мне или к качеству кофе относился этот кивок — неясно.

— Представляешь, первая экскурсия у меня в двенадцать. Сделали расписание! А встала чуть свет.

— Без дела толчемся, никто времени нашего не жалеет,— согласилась мама.

— Могла еще два часа спать...— Лариса зевнула в подтверждение своих слов, повернулась в мою сторону.— Решила, и молодец! Хуже, если бы твоя дочь ничего сама решить не могла. Решительных я уважаю. А что в сапожную мастерскую — так ведь и там люди. И, может, поумнее институтских найдутся.— Она ткнула маму в плечо, как мальчишка, сказала с вызовом: — Ну, что ты, Анна, страдаешь? Поработает год — разве плохо? Я до этого экскурсионного бюро восемь лет добиралась. И санитаркой была. И подсобницей на заводе. Даже пожарником. И не жалею, все на пользу пошло.

Сзади высокий писклявый голос спросил:

— Можно, девочки?

Лариса отодвинулась, а Соня уже протискивала между нашими стульями широкое кресло. Села, оглядела всех с сочувствием.

— Ты, Анюта, не переживай. В наше-то время как было? Не хочешь учиться, а институт все равно кончаешь. А теперь только и слышишь: того «зарезали», этого. Хирургия какая-то, а не вступительные экзамены.— Она помолчала, хитро поглядывая на меня, что-то было припрятано у нее утешительное.— А я уже кое с кем договорилась о Любе...

Вопроса не последовало.

— Будет работать в Академии наук.

— Ну? — обрадовалась мама.

Лариса кашлянула, спросила осторожно:

— Кем?

— В животнике.

— Где?

— В животнике, с крысами...

— Иди ты,— сказала Лариса беззлобно.— Очень Любе нужны академические крысы. Она уже в сапожное ателье устроилась, директором.

Я так и знала, что Соня поверит.

— А что? — сказала Соня с явным одобрением.— Здорово! Да кому нужно наше высшее! Учишься, учишься, а потом сто рублей. А Любка, небось, сразу двести отхватит.

— Триста,— сказала Лариса.

— Ба-атюшки! — ахнула Соня.— Триста?

Ее лицо вытянулось, в глазах появился испуг.

— Ладно,— сказала Лариса.— Перестань чужие деньги считать, лучше ответь, когда отдашь долг за костюм. Меня давно спрашивают.

Соня поставила чашку, виновато заморгала.

— Отдам, отдам, только пока нет у меня. Может, немного с получки.

— Не нужно было брать, раз не могла отдать сразу,— осуждающе сказала Лариса.— Давай перезаймем у девочек...

В комнате гремели чашки, стучали, позванивали ложечки, скрипели стулья.

— Девочки! — крикнула Лариса, перекрывая общий равномерный гул.— Скинемся для Сони по пятерке, ей с долгом не расплатиться!

Она взяла листок бумаги и начала составлять список.

Дверь мне открыл Иван Васильевич, стоял огромный в дверях и сонно смотрел на меня.

Из кухни вынырнула Евдокия Никитична, маленькая, толстощекая, вся будто составленная из шариков разной величины: рот — бублик, нос — пуговка, глазки — вишенки.

Евдокию Никитичну я очень люблю, добрая она и гостеприимная.

— Любаша! — обрадовалась она, проникая под руку Ивана Васильевича.— Заходи. А Вера вот-вот придет, уже время...

Иван Васильевич прихлопнул дверь, пошатал ее немного, проверил. Подумал и наложил крючок. Потом пошел к телевизору.

— Чего показывают, Вань?

Заскрипело кресло. Иван Васильевич уперся локтями в колени, уложил в ладони подбородок, застыл перед экраном.

— Ерунду.

— Завтра чуть свет вставать. Поспал бы...

— Успею.

Мы пошли на кухню. Евдокия Никитична смахнула со стола крошки, двинула стул в мою сторону.

— Сейчас покормлю,— сказала она.

Вытащила из холодильника салат, заливную рыбу, поставила кастрюлю со щами на плиту и тут же помчалась в комнату — в буфете были у нее пироги с картошкой.

— Ешь, сиротинушка,— приговаривала Евдокия Никитична, подкладывая салат.— Мало будет — котлетку пожарю.

Я отодвинула тарелку — хотелось передохнуть.

— Это хорошо, что ты решила с Веруней работать, с ней не пропадешь.— Приложила руку к щеке, задумалась.— А вот с одним худо, Любаня, ой, худо. Ночью то на один бок лягу, то на другой,

а от мыслей не увернешься...— Евдокия Никитична заметила мое удивление, вздохнула.— Одна она все, одна, а время, Любаня, идет. Тебе восемнадцатый, а Веруне — двадцать четвертый, детишек пора иметь...— Она всплеснула руками.— И куды только женихи-то попрятались?! Недавно табунами ходили...— Поглядела на меня с жалостью, спросила: — Нет у тебя кого из хороших, познакомить бы?..

— Зря, тетя Дуся, убиваетесь. Если Вера захочет...

— Хочет она, хочет,— уверенно сказала Евдокия Никитична.— Только нету... А мы с Ваней немолодые уже. Ему за шестьдесят, мне немногим поменьше. И главное-то, что все у нас есть: и дача, и машина, а внуков...

Из столовой донесся громкий командирский голос, потом начали стрелять из орудий. Снаряды рвались где-то рядом.

— Воюют в телевизоре,— вздохнула Евдокия Никитична. И снова тревожным шепотом повторила: — Ты не ответила... Есть у тебя кто?

Я вдруг вспомнила Игоря. Она заметила что-то в моих глазах, придвинулась ближе.

— Есть...

Теперь отступать было поздно.

— Это кто?

— С милиционером познакомилась. Чуть меня на мосту не оштрафовал. Хороший, по-моему, человек, только не очень красивый.

Евдокия Никитична отмахнулась.

— С лица воду не пить. Был бы самостоятельный и чтоб дом любил. Ивана-то Васильевича моего от дома только с досками оторвать можно.— Она неожиданно крикнула: — Вань! А если бы у тебя зять милиционером работал, тогда как?

Щелкнул телевизор, стало тихо.

— Где ты милиционера взяла?

— Люба предлагает.

— Может, и ничего,— сказал Иван Васильевич после молчания.— Главное, чтобы дом любил.

Евдокия Никитична засмеялась, прикрыла рот ладошкой.

— Полюбит, когда детишки пойдут...— Повернулась ко мне, подмигнула: — Давай, Любаня, постарайся. Мы сваху без подарков не оставим.

— Да что вы, тетя Дуся!—сказала я.—Тут другое дело: не знаю, как договориться; он в общежитии живет...

— В общежитии! — ахнула Евдокия Никитична.— Ну, я и накормлю же его, вздохнуть не сможет... А приглашать к нам — дело простое. Скажи, есть у меня подружка хорошая, самостоятельная, все у нее на месте...— Евдокия Никитична счастливо фыркнула, словно дело было решенное.

В столовой телевизор опять зарычал мужским басом.

У Юры в окнах горел свет. Во дворе на скамейке полулежал мужчина: ноги вытянуты, руки заломлены за голову.

Я обошла эту странную фигуру и внезапно узнала Владимира Федоровича. Он поднял голову.

— Люба? — Он уже сидел ровно — худые колени острыми углами поднимались вверх.— Тепло! Хорошо, тихо. Вот написать бы такую ночь, но ведь лучше этого не напишешь...— Опять откинулся на спину, вывернул руки и потянулся, точно хотел снять с неба лунный диск.— Не напишешь,— повторил он.— А человек все пытается состязаться с природой... И проигрывает.

— Вы художник? — Я села рядом.

Владимир Федорович поглядел иронически на меня.

— Это все равно, что говорить: я красавчик.

Помолчали.

— Странно,— сказал он.— Писал натюрморт — нравилось, а сейчас вспомнил сделанное, и стало стыдно. Плохо, очень плохо...

Он застыл, откинул голову, острая борода поднялась. Вынул сигареты, взял одну, чиркнул спичкой. Его лицо на короткий миг осветилось, глаза блеснули красным.

— Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.

Затянулся глубоко, выпустил кольцо дыма.

— А Федор Николаевич тоже художник?

— Нет. Был учителем литературы, директором школы, но это все давно, очень давно, Люба.

Владимир Федорович поднялся.

— Пора идти. Я отца одного оставил. Стараюсь этого не делать. Боюсь: каждый день приступ. И главное, он врачей вызывать не разрешает.— Протянул мне руку, попрощался.— Извините,— и быстро пошел к дому.

Дверь у Федоровых оказалась приоткрытой. Я только хотела захлопнуть ее, как в коридоре неожиданно вспыхнул свет, и я увидела Владимира Федоровича с эмалированным тазом. Он торопился в комнату, толкнул дверь ногой — вода плеснулась, растеклась по полу. Владимир Федорович застыл на секунду и тут заметил меня.

— Люба,— не удивился он.— Пособите немного... И исчез.

Я нерешительно прошла в первую, проходную комнату, остановилась. Беспорядок был фантастический: стол почти у дверей, стулья перегораживали проход, какие-то бутылки и рамы на полу — мне некогда было все это разглядывать.

До следующей двери я все же добралась, нерешительно ее отворила.

Владимир Федорович стоял на коленях около кровати старика, что-то делал. Потом я увидела шприц: Владимир Федорович положил его в стерилизатор.

Федор Николаевич — худой, с выпирающими ключицами, с желтым больным лицом — вроде бы глядел в мою сторону, но наверняка ничего не видел.

— Горячей подлейте,— попросил Владимир Федорович.— Горячая ему хорошо помогает.

Я принесла чайник, подлила в таз. Теперь я глядела на впалую старческую грудь, на всклокоченную бороду, на прыгающую жилу на шее и боялась шелохнуться.

— Скоро ему полегчает,— сказал Владимир Федорович.— Оказывается, и этому можно научиться. Делаю уколы, лечу астму, разбираюсь не хуже «неотложки».

Старик неожиданно поднял голову. Он все еще хрипел, в углу рта блестела серебряная паутинка, но глаза с каждой минутой становились яснее.

Он узнал меня.

— Я позвал Любу, не возражаешь? — Владимир Федорович присел на корточки, насухо вытер стариковские ноги, передал мне таз.— Попробуй уснуть, папа.— Встряхнул одеяло и прикрыл старика.— Я буду рядом, не волнуйся,— говорил он, отступая к двери. Повернулся ко мне и шепотом спросил: — Чаю хотите? Только без сахара. Забыл взять. Впрочем, у нас, кажется, есть вафли.

На кухне зазвенела и покатилась крышка чайника, заурчала вода из крана. Теперь я могла осмотреться.

Холостяцкую квартиру я уже однажды видела. Несколько лет назад мама меня брала к Алику. Все в его комнате знало свое место, стояло так, как и положено стоять: кресла были словно привинчены, едва я подвинула одно, как Алик подошел сзади и поставил по-прежнему. Пальто висели в шкафу на вешалках, костюм под простыней, чтобы не пылился; на подоконнике — вазочки с цветами...

У Федоровых было иначе. На столе выстроились крашеные причудливые бутылки. Они как бы утопали в складках скатерти; тут же на разбитом прямоугольном блюде лежали сморщенные сухие персики и гранаты. Подтеки краски засохли на полу, несколько длинных пунктирных дорожек, будто кто-то специально стряхивал кисти.

На многоступенчатой полочке около окна стояли еще флаконы и бутылки, словно на витрине пункта сдачи посуды.

И все же главным в комнате были картины. Они висели на стенах без рам, с рядами загнутых гвоздей на подрамниках, с лохматыми краями холстов.

На картинах были те же бутылки красного, синего, зеленого цвета, дутые и вытянутые, по одной и группами. Они то стояли на намечающейся плоскости стола, то утопали в складках скатерти.

Владимир Федорович вошел в комнату, позвякивая чашечками.

— Пейте. У вас еще будет время рассмотреть все это...— Отхлебнул первый, пододвинул мне вафли.— Расскажите, что у вас с институтом?

— Теперь это не имеет значения. Иду работать.

— Куда?

— В сапожное ателье.

Он кивнул.

Я невольно смотрела на стены. Бутылки притягивали мой взгляд. Сушеные, будто бы умершие, гранаты лежали на блюде, а рядом стоял причудливый флакон со вдавленным боком, и на него откуда-то падал свет. Ах вот: из окна. Прямоугольный блик лежал на его поверхности.

Я пожалела, что рядом нет Юры. Мне всегда становилось жалко, если я не могла своей радостью поделиться с ним.

— Времени не хватает работать,— пожаловался Владимир Федорович.— Фактически для живописи у меня остаются ночи. Когда спит отец. А потом я еще должен сделать другое — «Окна позора» для трамвайного управления. «Гражданин Свистунов оштрафован за безбилетный проезд». Вот моя творческая сфера.— Он странно рассмеялся.

— Но почему у вас всегда бутылки? Случайно?

— Нет. Иногда мне хочется писать другое, совсем другое, Люба...— Он не закончил мысль.— Но вообще-то разве это пустяковая задача — выявить душу предмета, оживить его, обласкать собственным чувством, превратить в поэзию?! Красота, я уверен, не лежит и не валяется, и задача художника — ее увидеть и показать другим...— Он улыбнулся как-то робко, словно бы просил прощения за такую длинную фразу, но внезапно насторожился, шагнул к двери.

Через несколько минут Владимир Федорович вышел от старика.

— Отец хотел бы поговорить с вами,— сказал он.— Не пугайтесь... Зайдите.

Старик полулежал в кровати, откинувшись на высокий изголовник. Он все еще был измучен приступом, дышал тяжело.

Я остановилась в дверях.

Видел ли он меня, не знаю. Рука Федора Николаевича согнулась в локте, длинный указательный палец шевельнулся, приказал приблизиться.

Я подчинилась.

Он накрыл своей крупной ладонью пальцы моей руки, но глаза что-то искали на потолке.

— Люба,— сказал он и словно прислушался к тому, как звучит мое имя. Какое-то тревожное воспоминание пробежало по его лицу. Локти Федора Николаевича упирались в подушку. Он попытался сесть, но сил не хватило, и он дважды падал навзничь.

Владимир Федорович помог ему, подбил подушку под спину, создал опору и, положив на плечо старика ладонь, попытался его успокоить.

— Папку! Папку! — требовал старик.

Зрачки его словно покачивались, и мне показалось, что он ничего не видит в комнате.

Владимир Федорович подошел к шкафу, достал с полки старую, черной кожи папку, протянул отцу.

— Здесь! — говорил Федор Николаевич, пытаясь развязать узел дрожащими пальцами. Открыл крышку, бумаги, и какие-то фотокарточки веером рассыпались по одеялу, разлетелись по комнате. Он наконец достал потрепанную серую большую тетрадь, помахал ею.— Классный журнал сорок первого года! Погляди, какие отметки!

Он протянул журнал мне.

Я отступила.

— Возьмите, Люба,— попросил Владимир Федорович и даже подтолкнул меня к отцу.— Он хочет рассказать вам...

Я подчинилась. Лихорадочный блеск нарастал в глазах Федора Николаевича, мне было страшно — теперь я и сама видела: это душевнобольной.

— Пока не появился журнал, дети не хотели верить, что у нас — школа.

Он подался вперед, сам перелистнул страницу. Сверху было написано: «Литература»,— дальше столбиком три фамилии, а в каждой разграфленной клеточке стояла пятерка.

— До войны у меня считалось невероятным получить пятерку, правда, Володя? А в блокаду я их ставил щедро. Если даже они не запоминали урока — я ставил. У детей в сорок первом резко ухудшилась память. Знаешь, я заметил, дети хуже нас, взрослых, переносят голод.— Он вдруг спросил: — Теперь какой год?

Я сказала.

— Уже?! — Он удивился. Что-то, видно, считал про себя, шевелил губами.— Они волновались, когда я уходил. Плакали. Я брал журнал и направлялся из дома. Я говорил, что иду на работу. И это была правда. Я давал одной девочке уроки. И брал за урок кусок хлеба.— Он задумался, пожал плечами.— Какое это было унижение, Люба! Сытый, капризный ребенок. Но я не мог не пойти. Не имел права. У них я еще выменивал вещи. И получал хлеб. Меня ждали сироты. Три девочки из моей школы...

— Папа, не нужно!

— Нужно, Володя, нужно! Сегодняшние должны знать про это. Я давно собирался рассказать Любе. Я ждал. Я рад, что она у нас дома.— Опять стали слышны хрипы.— Это был богатый дом. Очень. Богатый хлебом. Мать работала на раздаче в столовой. В блокаду, Люба, это была особая должность! Она говорила: «Куда вам столько?» Но я брал все, что она давала. И нес детям. Трем сиротам. Их глаза всегда были рядом. И в глазах — голод! Знаешь, я выходил из своей квартиры, когда они ели. Взрослый человек может перетерпеть, если нужно. Ребенок не может.— Он провел по лицу рукавом халата.— Тот, последний день начался удачно. Мне удалось поменять эскиз. Портрет бабушки, написанный Серовым. Моя бабушка была артисткой

Александринки. Я не предполагал, что смогу за портрет получить половину буханки. Уйму хлеба. И еще кирпичик пшенного концентрата. Сама посуди, кому нужен Серов в блокаду? ...Я шел быстро. Спешил к детям. Я знал, как они меня ждали...

— Папа! Дальше я сам доскажу Любе...

— Дальше ничего не было, Володя! Конец. Наружная стена нашего дома отвалилась, как ломоть...— Он всхлипнул и захрипел еще больше.

А потом я бегала на кухню за горячей водой. Владимир Федорович жгутами перевязывал отцу ноги — это вроде бы помогало при астме,— давал чаю, просил запить какие-то таблетки.

— Нужно поспать, папа. Люба у нас еще будет...

Глаза старика начали слипаться. Я тихонечко отходила к двери. Старик увидел, что я ухожу, и крикнул:

— Мне нужно еще рассказать тебе что-то! В блокаду у меня жили сиротки. Три девочки. И представляешь, одну звали Люба. Они погибли...— Он что-то бормотал еще, потом затих. Дыхание выравнивалось, лекарство подействовало.

Мы вышли на лестницу. Я спросила: все ли, что говорит Федор Николаевич, правда?

Владимир Федорович не ответил.

— Идите, Люба. Спокойной ночи.

Повернулся. И за моей спиной щелкнула дверная задвижка.

Автобус был переполнен. Меня прижали к задней двери. Вера пробилась к водителю. Оттуда она подавала мне знаки.

Вышли остановкой раньше, решили зайти в мясной магазин.

— Главная задача — накормить мастеров так, чтобы они поняли: с твоим приходом наступил праздник. А ты можешь,— убеждала она.— Я это знаю. Постарайся. Купим мяса, а деньги соберем после... Даю вроде бы взаймы.

Я не возражала. Приготовить я могла, если это кому-то нужно.

Магазин был напротив. Мы постояли на перекрестке, пережидая поток машин, потом регулировщик в будке дал «зеленый» и махнул нам рукой.

— Не твой знакомый?

— Нет.

— Ну, ты и дала. Пообещала родителям собственного милиционера в хозяйство! Подняла неслыханное волнение в доме. А мне, заинтересованному лицу, ни гу-гу. Как же это так, подруга?! Выкладывай паспортные данные: имя, фамилия, возраст? Есть ли благодарности? Сколько классов кончил? Предупреждаю, я за двоечника не пойду. Мне нужен отличник боевой и политической подготовки.

Потом слушала она меня с иронией, но интерес к рассказу был четкий.

Магазин уже открылся. У прилавка толпилась очередь. Вера двигалась решительно, извиняясь, а то и просто раздвигая бабушек с кошелками.

Кто-то все же усомнился в наших правах, перекрыл путь, потребовал объяснений.

— Халатик, пожалуйста,— крикнула через головы очереди Вера. И, обернувшись к тому, кто осмелился ее задержать, сказала с суровым выговором: — Гражданин, вы мешаете эпидстанции.

К ней тут же шагнул высокий старик:

— У меня есть претензия к магазину по части хранения мяса в рефрижераторе...

Сердце мое испуганно затрепыхалось.

Вера глядела сквозь жалобщика, ее рука подняла перекладину прилавка.

—Я занимаюсь воздухом,—сказала она. — Чистотой. Если у вас есть что-то по поводу запыленности — пожалуйста, а рефрижератор — это уже другой отдел...

Директор сапожного ателье удивил меня: рядом с Верой стоял худенький мальчик с редкой бородкой, с институтским значком на лацкане, подтянутый и несколько виноватый, если судить по блуждающей и неуверенной улыбке.

— Вот вы какая, Савельева,— говорил он журчащим голосом.— Вера Ивановна о вас рассказывала. Ну, условия вы знаете. Обязанности тоже. Садитесь за мой стол, пишите заявление, а я отвезу в управление. Они знают, что я беру человека...— Он отодвинул бумаги и показал на свое кресло. Вздохнул: мол, это, конечно, место для меня временное, он не может уступить ателье.

Пока я писала заявление, Вера листала пачку накладных, потом энергично стала бросать костяшки на счетах, а директор отмечал что-то в блокнотике. Со стороны казалось, что начальство скорее Вера, а он подчиненный, так строго и решительно она с ним разговаривала.

Наконец, она сложила накладные в картонную папку, перевязала тесемочками.

Я тоже закончила свое дело, передала бумагу. Вера прочла ее внимательно и, ничего не прибавив, положила мой лист в ту же папку.

— Я, пожалуй, пойду? — спросил директор у Веры и посмотрел на меня: — А вы дальше обращайтесь к Вере Ивановне, она моя правая, можно сказать, рука. Сложностей не будет. Разве обед приготовить...

— Это она мастерица,— заверила директора Вера.— Советую вам сегодня поспешить на ее премьеру...

Потом мы обходили мастерскую, и Вера знакомила меня с мастерами. Парни похохатывали вслед, острили. Девушки — ушивщицы и клейщицы, как объясняла мне Вера,— поглядывали с любопытством: какая она, новенькая? Чего можно от нее ждать?

Невозмутимыми были старички сапожники: они сидели на своих стульчиках-липках среди непочиненной обуви, уложенной на полу, на верстаке, и «колотили план»

Стихнул токарный станок. Из-за него выглянул белобрысый парнишка с девичьим румянцем на небритых щеках и с длинными, до плеч волосами.

— А ничего девушка,— одобрительно сказал он.— Всё на месте.

— Зато у тебя не все на месте,— строго сказала Вера.— Гляди, как разбросал обувь. Лучше переживай, Вавочка, за план.

— Девушка сверх плана,— острил Вавочка.

— Не выйдет,— сказала Вера.— Любино сердце принадлежит молодому хирургу.

— У нас все профессии равны,— не сдавался Вавочка.

В первый же час на кухне успели перебывать ребята всей мастерской. Вавочка возникал трижды. Он явно перестал работать. Останавливался в дверях, принюхивался к бурлящему борщу, прищелкивал языком. Верхняя губа его поднималась домиком, обнажая прямые белые зубы; круглый с ложбинкой нос слегка шевелился, и Вавочка становился чем-то похожим на херувима.

— Мировой запах! — говорил он, усаживаясь на табуретке.— Так у нас еще никогда не пахло.

Вера тоже забегала ко мне. Зачерпывала борщ из

кастрюли, дула на него и, сложив губы трубочкой, шумно всасывала жидкое.

— Прибавь соли,— советовала она.

Пока варился борщ, я успела прибрать в мастерской. Дел было много, но я постоянно думала о Юре. Как у него?

И все же не только Вавочка запомнился мне. На стульчике-липке трудился маленький человек без возраста. Со спины он казался молодым. У него были сильные, мускулистые руки, густая прическа-бобрик, мощная шея. Человек обернулся,— нет, он оказался не молод! — в мою сторону был брошен острый взгляд.

Он кивнул, а его рука уже шарила в куче обуви, отобрала нужный туфель и стала мять его будто тесто. Потом большой палец торопливо проехал по ранту, отыскал дефект, проник внутрь, сделал дыру пошире, и сапожник, прищурившись, поглядел одним глазом в туфель, точно в подзорную трубу. Черное облако словно пробежало по его лицу; мастер думал. В это же самое время вторая рука захватила металлическую лапу, установила ее между коленей. Молоток пробежал по подошве, точно палочка ксилофониста перед тем, как начать партию, застыл над каблуком. Сапожник неожиданно скосил взгляд в мою сторону, улыбнулся.

И тут началось!

Туфель подскакивал на «лапе», будто дышал. Губы сапожника вытянулись, нос заострился, стал похож на стрелку-указатель, взгляд сделался колким. Гвозди входили с одного удара, слегка позванивали. Это была партия фокусника в цирке, гимн труду, марш победителей.

Я забыла о своих обязанностях, не могла оторвать взгляда от такой работы. Вера подтолкнула меня.

— У тебя выкипает борщ.

Я не пошевелилась.

— Кто это?

— Дядя Митя,— сказала Вера.— Профессор!

Мастера с шумом заходили на кухню. Дядя Митя снял фартук, вымыл руки, высушил их над плитой и благосклонно поглядел в мою сторону, вроде бы разрешил приступать к трапезе.

Я налила тарелку, поднесла борщ дяде Мите. Не глядя на меня, он взял ложку, почерпнул густоту, вылил. Снова зачерпнул и тогда отхлебнул. Я неожиданно почувствовала, какая тишина меня окружила.

Дядя Митя шевелил губами, как дегустатор.

— Прилично,— удивленно сказал он.

Мастера словно ждали его приказа. Вавочка стонал от удовольствия, сыпал шутками, острил.

— Ну, как? — спрашивала у каждого Вера.— Какую я вам раздобыла кадру?!

А дядя Митя замкнулся. Он ел. Зачерпывал ложку, подставлял под нее кусок хлеба и медленно нес ко рту. Он жмурился от удовольствия; кажется, я ему действительно угодила.

Потом он поскреб по краям тарелки, слил в ложку остаток и стал ждать второе.

Я положила тушеное мясо. Оно плавало в томатном соусе и было темно-вишневого цвета.

Дядя Митя отщепил махонький кусочек, обмакнул в соус и положил на язык. Восклицание росло в его глазах.

— Прилично! — сказал он второй раз с удивлением.— Такое умела делать только моя старенькая мама в Корыстене. Где ты з т о м у наунилась?!

— Недалеко от Корыстеня,— сказала я.— Мои дедушка и бабушка оттуда.

Я вышла к телефону. Пора было позвонить Юре. Стояла у аппарата, что-то долго не соединялось.

Вера обняла меня за плечи; я не слыхала, когда она подошла.

— Поздравляю! Ты удостоилась высшей похвалы дяди Мити.

— Подумаешь, «прилично»! Что, у него не было другого слова?

— Что ты! — сказала она.— Ты даже не представляешь, как бы звучало его «неприлично».

Я услышала звуки победного марша.

— Пятерка! — кричала трубка в пространство. Она кричала любому, не интересуясь — кому.— Пятерка!—орала трубка.—Пятерка!

— Доктор Кораблев, я вас поздравляю!!

— Ладно.— Я засмеялась.— Приду с работы — Это нужно отметить! Родители дают копеечку своему единственному ребенку! Ребенок заслужил, честное слово.

Ему мешала Валентина Григорьевна, тоже что-то говорила в трубку.

— Тихо! — перекричал ее Юра.— А то пойду и пересдам на «два».

Вера так и не ушла, стояла рядом.

— Поздравляю, студент! — крикнула она.

— И тебя приглашаю,— орал Юрка.— Давайте кончайте трудиться!

— Ладно,— я засмеялась.— Приду с работы — решим. Ты пока невменяем.

Мы поговорили немного, я повесила трубку, пора было открывать мастерскую после обеденного перерыва.

— Вот что,— сказала Вера, обдумывая какой-то план.— Раз уж моя судьба небезразлична тебе, упускать такую возможность не стоит. Позвони Юре и скажи, что соберемся у тебя дома. Продуктами я обеспечу. Тебе остается доставить милиционера.

— А если он на дежурстве?

— Нет,— твердо сказала Вера, точно уже все узнала.— Это было бы несправедливо.

Когда я вернулась на кухню, там сидел дядя Митя.

Теперь можно было поесть и мне. Я налила тарелку, села в стороне.

Дядя Митя достал сигарету, покрутил ее в пальцах, размял. Чиркнул спичкой и глубоко затянулся. Он словно решил больше сегодня не работать.

На пороге появилась Вера, в ее руках были ботинки. Она присела рядом с дядей Митей.

— Вот, поглядите,— сказала она с сердцем.— Вавочкина работа. Заказчик требует жалобную книгу.

Дядя Митя не пошевелился. Он будто не слышал.

— Директора хочет, очень шумный товарищ...

— Ну и что? — переспросил наконец дядя Митя.— Пусть напишет.

— Что вы?! Что вы?! А тринадцатая зарплата?! Вы же знаете, пострадает вся мастерская!

Дядя Митя снова глубоко затянулся. Пустил кольцо дыма. Закинул ногу на ногу, покачал школьным ботинком.

— Нет, нет,— тревожным шепотом говорила Вера.— Только вы можете уговорить клиента.

Бровь взлетела у дяди Мити.

— Я! С какой стати? Есть директор...— Он показал на дверь.— Товарищ Федулов. У него ромбик в петлице. Его учили пять лет в институте. Он умеет говорить с клиентом. Мое дело — шить обузь... Драть некому этого Вовку. Все считают, Митя исправит. А ведь Митя тоже не вечен.

Открылась дверь. На кухонном пороге стоял толстячок, квадратный и лысый. Глаза толстяка глядели хмуро, губы были поджаты, желваки гуляли по скулам — казалось, толстячок готов был подраться.

Я отставила тарелку: еда могла раздражить еще больше.

А дядя Митя словно никого не видел. Стряхнул пепел. Зевнул. Протянул руку в сторону Веры.

— Разреши подержать наш брак? — сказал он мирно. Взял ботинок, покачал головой.— Безобразие! Стыдища какая! Если бы это сделал мастер, я бы оставил от него мокрое место. Чем так работать, лучше уж не работать.— Он вздохнул.— Но для первых шагов это не так страшно.— Повернулся к Вере. — Туфли попали к клиенту по ошибке. — Улыбнулся, успокоил толстяка взглядом.— Понимаю,— сказал он мягко, как бы впервые его заметив.— Вам нет до этого дела. Понимаю. Согласен.— Поставил туфель на подоконник, кивнул клиенту.— Извините нас и потерпите немного. Через два часа вы не узнаете своих туфель. Это говорю вам я, мастер.

Дядя Митя подождал, когда клиент выйдет, открыл дверь в цех и один за другим запустил в сторону собственного верстака туфли.

Потом позвал:

— Вова!

Я думала, дядя Митя начнет браниться, но он подпер кулаком щеку, так что лицо перекосилось, уголок рта поднялся, глаз вытянулся.

— Девочка,— обратился он ко мне, а не к Вове,— скажи, тебя учили в школе халтурить?

Я промолчала.

— Тогда откуда берутся такие, как этот?.. Ему даже не стыдно, что старик, дядя Митя, сегодня спасает ему тринадцатую зарплату.

Уши у Вавочки запылали, лицо стало пятнистым.

— Что же ты молчишь, халтурщик? Может, расскажешь, кто тебя научил халтурить?

Он помолчал.

— Ах, ты иначе не умеешь, халтурщик, я понимаю...

— Почему же,—тихо пробормотал Вавочка, глядя в пол.

— Значит, ты умеешь иначе?! — Дядя Митя поджал губы.— Просто халтура — твой принцип. Скучно тебе не халтурить.— Дядя Митя сказал, как отмахнулся.— Изыди! Мне тошно тебя видеть, халтурщик.

Вавочка попятился задом, прикрыл двери.

Жалобщик ошарашенно разглядывал туфли, починенные дядей Митей.

Из-за спины дяди Мити выглядывал Вавочка, вытребованный со своего места. Вавочка делал вид, что возник здесь случайно, блуждал глазами по потолку.

— Заверни туфли,— наполеоновским жестом указал дядя Митя.

Захрустела бумага.

— Теперь проводи товарища!

Вавочка подчинился.

Дядя Митя подождал, когда жалобщик скроется за дверьми, оглянулся. Увидел меня. И добродушно, точно все это было шуткой, подмигнул.

После дневных волнений, знакомств, разговоров и суеты тишина дома казалась удивительной. Я прилегла на диван, и в ту же секунду время словно остановилось для меня. Это был желанный покой.

Слава богу, все приготовления Вера взяла на себя, в том числе и разговор по телефону с Игорем. «Милиционер, даже если он отличник-криминалист, вряд ли сумеет различить нас...»

Когда я открыла глаза, в квартире оказались Евдокия Никитична и Вера. На столе стояли фужеры для лимонада, рюмки и тарелки, а Вера большой деревянной ложкой перемешивала салат.

— Погляди на эту красоту,— сказала она, окидывая стол критическим взглядом.— Если милиционер окажется с браком, я вычту расходы из твоей первой зарплаты.— Воткнула три зеленых луковых перышка в вершину салата, повернулась к матери.— Пойдем. Мне нужно еще переодеться.

Евдокия Никитична обняла меня перед уходом, зашептала слова благодарности в ухо.

Вера с иронической улыбкой смотрела на мать.

— Хватит! — прикрикнула она.— Не пришлось бы тебе брать эти слова назад после встречи...

Первым примчался Юра. Стоял счастливый передо мной с букетом гвоздики и шампанским. Поставил все на кухонный стол. Обнял меня и на руках понес в комнату.

— Ура! Мы наконец одни, Люба!

Как я люблю смотреть на него! Он этого не подозревает. А я гляжу, как он смеется, как говорит, как дурачится, и радуюсь, радуюсь, не знаю даже, отчего у меня такая радость.

Помню, в актовом зале нашей школы он шел получать аттестат. Мужчина! Взбежал на трибуну, поцеловал Зинаиду в губы — никто бы на это не решился. Пожал директору руку.

Другие кривлялись от застенчивости, строили рожи, гримасничали.

...Юра обвел стол глазами, покачал головой.

— Неужели из-за меня?

— Мы еще одного человека пригласили. Для Веры. Милиционер. Я с ним на мосту познакомилась.

Юра неожиданно взъелся.

— А меня спросила?! Почему сегодня мы не могли вдвоем побыть? И должны участвовать в этих милицейских посиделках? В институт я законно попал, и милиционер для дополнительного расследования не требуется.

— Юрочка,— взмолилась я.— Вера — моя подруга, она в эти дни столько для меня сделала, а значит, и для нас. А милиционер, между прочим, достаточно умный парень.

— Это он на мосту умный,— сказал Юрка.

Не знаю, отчего я обернулась, вроде бы ничего не скрипнуло и не прозвенело, а милиционер Игорь уже в дверях стоит, поглядывает на нас с улыбкой, без всякого раздражения. И в руках тоже гвоздики, будто бы он пришел действительно свататься.

И совсем он, как оказалось, не лопоухий. Нос, может, чуточку широковат, верно, и конопушек масса, но глаза хорошие, сияние в них такое...

Юра взял букет и вежливо говорит:

— Большое спасибо! Сегодня у меня праздник. Это же я в институт попал.

И тут влетела Вера. Высокая, в длинной моднейшей юбке и теперь ощутимо старше меня. Я даже перепугалась, как бы Игорь ее за мою маму не принял.

— Познакомьтесь,— говорю.— Моя лучшая подруга Вера.

Вера захохотала: было понятно, он ей симпатичен,— протянула Игорю руку, пожала ее, как она умеет.

— Мы с вами знакомы,— говорит.— Это же я вам от ее имени звонила, договаривалась о встрече. А вы, оказывается, не очень-то бдительный человек, так вас любая женщина увести может.

— Ну, в данном случае доверчивость не подвела меня,— сказал Игорь.

За стол сели сразу. Пока компания не очень знакомая, с этим делом лучше поспешить.

Вера разлила вино в рюмки, постучала по горлышку бутылки вилкой, предлагая слово желающему. Игорь поднялся, поглядел на нас с Юрой, сказал спокойно:

— Я новичок тут... Вроде бы вторгся... Но по праву старшего...

— По званию? — издевательски спросил Юра.

Я его подтолкнула.

Игорь засмеялся.

— По возрасту,— сказал он.— И даже по образованию, Юра.— Помолчал и закончил: — С большой тебя удачей. Виват!

— Виват! — Вера выпила до дна.

— А что,— сказал Юра, и опять его глаза засветились недобрым, хотя вроде бы и наивным светом,— если бы я не попал, разве меня не взяли бы в милицию? На работу, конечно. Мне очень в детстве регулировщиком стать хотелось. Одного на Литейном видел: артист! Ты-то, небось, пошел по призванию?

— Ну, не совсем,— словно не понял иронии Игорь.— Я в театральный институт поступал и провалился. На режиссерский. Массовые сцены мне нравятся. Вон Люба видела меня на мосту.

Он обвел всех глазами, остановился снова на Юре.

Я вдруг вспомнила про дядю Митю.

— У нас на работе есть мастер, дядя Митя, так он мне говорил: каждый должен играть свою роль как можно лучше...

— Философ-сапожник! Это было,— сказал Юрка.

— Все было. И ничего не было,— возразил Игорь.

— О милиционер-философ! Вот этого действительно не было. День открытий!

Юрка нарывался на скандал. Вера затихла, глядела на Юрку хмуро. Да и я уже несколько раз подталкивала его ногой.

— Философия — это наука о жизни,— как бы шутя сказал Игорь и стал наливать нам по новой.— Стараюсь заниматься ею помимо программы.

Он положил ветчину Вере, потом взял салат и тоже предложил ей. Застучали вилки, все вроде бы сосредоточились на еде. Вместо веселого вечера получалось черт знает что. Вера резко отодвинула стул, поглядела на Юру так, что он отвернулся.

— Давайте-ка потанцуем! — крикнула она, стараясь поднять общее настроение.— Юра, тебе как виновнику торжества, сегодня я готова простить любое. Молодой, нервный, утомленный образованием...

— Поучусь — поумнею,— попытался огрызнуться Юрка.

— Какой же ты, однако!..— Вера пожала плечами.— Ну, что лезешь?

Вера подошла к Игорю. Она старалась не замечать Юркиного раздражения и моей растерянности. Она спасала вечер своей выдержкой.

— Невероятное заблуждение,— шутила она, танцуя с Игорем.—Как можно думать, что институт делает человека умнее? Образование только выявляет глупость...— Она рассмеялась после каких-то слов своего партнера.— Ну, конечно! — подтвердила она.— Поэтому я и решила больше не учиться...

(Окончание следует.)

Ирина Путяева





Мы — Семнадцатого года!

Семнадцатый, тревожный год.
Шинели.
        Кожанки.
                Тулупы.
Не ветер обжигает губы,
а чей-то крик:
                «Вперед! Вперед!»
Он и сейчас стоит в ушах,
лети —
        призывный —
                        с веком вровень.

Вот,
    кажется,
            мелькнул бушлат
матроса с крейсера
                «Аврора».
И прибавляю шаг.
                И вот
уже мы с ним шагаем в ногу.
И это мне кричат —
                «Вперед!»
И это я —
        еще немного —
под аркой Зимнего
                с толпой
ликующей
            сольюсь навечно...
И кажется,
        что мне на плечи
давил ремень
            винтовки той!..
Нерасторжима наша связь.
Мы вместе
        именем народа
сказали Временному: «Слазь!»
Мы все —
        Семнадцатого года!

Отчизна

Придумать невозможно лес, и луг,
и небо, что так ласково и чисто...
Лишь взявшись за руки, друзей смыкая круг,
поймешь, как велика твоя Отчизна.
Как слово, что сложили по слогам,
так Русь возникла из слиянья речек,
из тишины, крадущейся к стогам...

Любовь к Отчизне—вот основы речи!

Юрий Щелоков



Наши песни

Буран в Орле, морозы в Пензе,
По всей России холода...
И только песни, наши песни
Не замерзают никогда

На площадях и на опушке,
В селе, в поселке, там и тут,
Летят воробышки-частушки,
И песни-лебеди плывут.

Плывут над тульским перелеском,
Над величавою Москвой,
Над вечереющим Смоленском,
Над запурженной Костромой...

В них — наши чувства, наши души,
Все, что несломленным прошло
Сквозь непогоды, войны, стужи
И сберегло свое тепло!

✪

Когда в судьбе переворот —
К чему все толки!
От дел вчерашних и забот
Летят осколки!

Все, что скопили нам года,
Легко и круто
Переиначит иногда
Одна минута.

Все, что давно сложилось в нас,
В привычках, в быте,
Переворачивает враз
Одно событье.

Подобно взрыву, вдруг оно
Взметает душу,
Все своды жизни заодно
Мгновенно руша.

И раздается этот взрыв
(Бывает, поздний),
Всю жизнь отныне разделив
На «до» и «после».

Лошадка

По улице не валко и не шатко,
Достоинство степенное храня,
В подводу запряженная лошадка
Шагала как-то на исходе дня.

Машины роем проносились мимо,
К обочине прижать ее грозя,—
Она же шла себе невозмутимо,
Лишь черным глазом чуточку кося.

И ей, казалось, не было и дела
До каменных громад со всех сторон
И до всего, что с грохотом летело
Так яростно навстречу и в обгон.

Она, видать, свою дорогу знала,
Но не рвалась без удержу вперед:
То подождет зеленого сигнала,
То пешехода смирно переждет.

Как будто все отлично понимая —
Моторов гул и человечью речь...
А между тем особое вниманье
Она успела исподволь привлечь.

Ей вслед смотрели взрослые и дети...
И посреди всей этой суеты
Рождалось чувство лучшее на свете —
Непостижимо светлой доброты.

✪

Экзотика — стихия не моя.
Переворота в сердце не свершили
Лазурные заливы и моря,
Сияющие горные вершины.
Но сердце перехватывает вдруг,
Когда увижу с берега крутого
Далекий лес,
Вечерний тихий луг,
Моей Оки зеркальный полукруг
И куст ракиты у ее излома.

✪

Земле — все светлое к лицу:
Цветенье яблонь и сирени,
Улыбка ландышей в лесу...
Но набегают тени, тени —

На перелески и поля,
На косогоры и поляны...
Смолкают птицы и баяны:

О чем-то думает Земля...

Улица

Наша улица — в зелени сочной.
Тополя высоки и густы.
Летней ночью напомнят о Сочи
Эти кроны, газоны, кусты.
Только сходство такое не стойко —
Утром вид совершенно другой:
Направляются МАЗы на стройку,
И несется автобусов рой.
Наша улица знает заботу —
Оттого и пыльна и шумна.
Провожая людей на работу,
На работе с рассвета она.
Тут главенствует труд, а не отдых.
Напряженье — весь день, до конца,
А не праздность проспектов курортных,
Не приморских бульваров ленца.
Только в душные летние ночи,
В час отлива дневной суеты,
Могут снова напомнить о Сочи
Эти кроны, газоны, кусты.


АРКТИКА





Юрий КУЧИЕВ,

капитан ордена Октябрьской Революции атомного ледокола «Арктика», Герой Социалистического Труда

КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД ПОЛЮСОМ

К старту на Северный полюс мы готовились исподволь. Для меня, например, подготовка началась сразу после назначения в 1971 году на строящийся в Ленинграде новый атомный ледокол. Когда я увидел корабль на стапеле, поразился его огромному корпусу — 148 метров длиной. Правда, винты удивили своей ажурностью, несмотря на внушительный диаметр — 5,7 метра! Но инженеры заверили, что они «дадут» те самые 75 тысяч лошадиных сил, на которые рассчитан ледокол. Теперь я могу сказать: расчеты оправдались!

Экипаж еще до ухода в плавание тщательно изучил все системы корабля, освоил все тонкости и нюансы энергетического комплекса.

Затем были напряженные швартовые и ходовые испытания. Ну а две предыдущие тяжелейшие арктические навигации, которые провел ледокол, были генеральной репетицией перед штурмом полюса.

Ледокольные качества «Арктики» особенно меня поразили в октябре 1976 года, когда нам удалось в условиях сильного сжатия форсировать тяжелый Айонский массив.

В районе мыса Шелагского и мыса Биллингса ледокол вспорол весь припай, пробив во льдах за четверо суток «дорогу» в 120 миль. Работать приходилось и носом и кормой. Носом вперед мы иногда не могли идти, потому что было много снега и нос «залипал». Тогда разворачивались кормой.

Условия для транспортировки судов были здесь особенно неблагоприятными, но мы помогли выйти последним судам из района Певека на восток — на

Зимой 1964 года Юрий Гагарин был гостем атомохода «Ленин». Ю. С. Кучиев признался первому космонавту, что всю жизнь мечтал быть летчиком. «Товарищ командир' — запротестовал Гагарин. — Зачем же вам летчиком? Такой корабль чудесный...».

На снимке Ю. С. Кучиев и Ю. А. Гагарин на борту атомохода «Ленин».

Фото из архива Ю. С КУЧИЕВА

кромку. Вот тогда я окончательно убедился, что наш ледокол способен преодолеть лед, прикрывающий подступы к полюсу,— паковый лед.

Это были испытания с дальним прицелом. Преодолевая их, наш экипаж — в основном люди молодые — креп, мужал. Режим работы на ледоколе очень напряженный, и не все выдержали нагрузку. Отлично! Остался тот состав, с которым можно, как говорят, идти в разведку.

И все-таки каждый из нас волновался, когда «Арктика» подошла к кромке сплошного льда. В сущности, мы шли в неизвестность. Правда, полярные станции давно зимуют на льдинах, но это другие районы. Особенно меня тревожили наши «махалки» — гребные винты — самое уязвимое место корабля. Когда ломается лопасть, это еще не страшно. В конце концов ее можно поменять за двое-трое суток (у нас уже имелся опыт смены лопастей под водой с помощью водолазов). А вот если отвалится гребной вал с конусом — дело плохо! На этот случай мы взяли 1,5 тонны взрывчатки, аварийный запас досок, бревен и бульдозер — на случай, если придется строить аэродром в торосистом льду. Продовольствием нас обеспечили на 7 месяцев.

Мы не просто должны были достигнуть Северного полюса. Прежде всего перед нами ставилась задача проверить «прочность» высокоширотного льда — речь шла о создании транспортной магистрали. Путь через приполюсный район, или, как говорят моряки, «по дуге большого круга»,— это самый короткий путь от Мурманска до Берингова пролива. Он сокращает протяженность транспортных перевозок на одну треть. Вот почему наш рейс к Северному полюсу был назван экспериментально-практическим. Хотя мы и были в автономном плавании, за хвостом — никого, а в принципе за нами вполне могли следовать транспортные суда. Это — дело будущего. А пока мы избрали тактику обхода наиболее мощных ледовых полей.

Напролом через тяжелые льды идти не годится. Дорогу надо искать. Метеорологическая обстановка нам благоприятствовала, но тем не менее многовековой естественный дрейф льдов с востока на запад создавал заторы в массивах. Там было сильное сжатие. Самолеты дальней ледовой авиационной разведки заблаговременно совершали облеты этих территорий и сообщали нам о наиболее трудных участках. Ориентируясь на эти сведения, мы намечали трассу, а затем высылали вперед по курсу вертолет, на борту которого находился наш гидролог Лосев. За этот поход он вместе с летчиком Мироновым около 60 часов пробыл в воздухе.

Наш маршрут в приполюсных льдах на карте отмечен ровной прямой линией. На самом же деле дорога была извилистой. Тяжелые торосистые массивы «Арктика» старалась обойти то с фронта, то с фланга, а то и с тыла. Такие военные термины тут оправданы, потому что лед — серьезное препятствие. С ним надо на «вы», с ним шутки плохи.

В некоторых местах мы кувыркались, как котята. Закон Ньютона «действие равно противодействию» во льдах особенно чувствителен. Я давал команду сбавить ход, когда наступало время обеда. Иначе тарелки скакали на столе. А потом мы перестали обращать на это внимание и ели «на весу».

Располагая большой абсолютной массой и мощной энергетической установкой, ледокол выталкивается на лед и крушит его, как колун, своим форштевнем. Этот принцип сохранился со времен постройки первого линейного ледокола «Ермак», спроектированного по техническому заданию адмирала Макарова.

Когда пробиваешь дорогу во льдах переменными ходами назад — вперед, тряска на ледоколе внушительная. Как следует не поспишь и не отдохнешь. Трясло все семь дней штурма приполюсных льдов — с 14 по 21 августа.

Каждый день был предельно напряженным. Особенно неприятной была задержка после 85-й параллели, когда ледокол заклинило на стыках ледовых полей. Сжатие было настолько сильным, что 75 тысяч лошадиных сил на наших винтах не могли преодолеть его. Но все обошлось.

Случались и другие задержки, максимальная — четыре часа. В общем-то это немного. Помню, как я «заклинился» на дизельном ледоколе «Киев» в Енисейской перемычке. 18 часов корабль был зажат словно в тиски.

Полярный лед бывает разным — и по цвету и по структуре. Чаще всего он бело-черный. Но бывает и грязный, с остатками грунтовой пыли. Он ведь дрейфует по Арктике от берегов, порой даже вместе с плавником. Видел я и канадский пак цвета аквамарина. А на Северном полюсе лед голубой. Местами он припорошен снегом, и на нем можно увидеть медвежьи следы. Но живого белого медведя мы встретили только раз.

Когда цель, о которой мечтали многие поколения мореходов, была достигнута, вместе с радостью я вдруг испытал какую-то подавленность и опустошенность. Видимо, слишком велико было нервное напряжение в этом рейсе. Слезы подступили, когда я поднес к флагштоку, на котором уже развевался красный флаг нашей страны, обломок древка флага Георгия Седова. Это древко отважный русский полярный исследователь увозил с собой из бухты Тихой, откуда зимой 1914 года начал свой поход к полюсу.

В это опасное путешествие Георгий Седов отправился на трех собачьих упряжках с Земли Франца-Иосифа.

Годом раньше в Карском море затерялась экспедиция Владимира Русанова. Он обогнул на боте «Геркулес» мыс Желания на Новой Земле и пропал без вести со всем экипажем, пробиваясь сквозь льды на восток. Деревянный столб с надписью «Геркулес, 1913» и некоторые вещи участников экспедиции Русанова были обнаружены на одном из островов у западного побережья Таймыра в 1934 году.

В том же 1934 году во льдах Чукотского моря произошла еще одна трагедия — погиб пароход «Челюскин».

Как много изменилось с тех пор! Хорошо сказал об этих переменах известный полярник, руководитель многих арктических экспедиций Р. Л. Самойлович: «Советские полярные исследователи не стремятся устанавливать какие-либо рекорды. Перед ними стоит тяжелая, но вместе с тем возвышенная задача. Достижение полюса не может служить в настоящее время исключительной целью полярных экспедиций. Мы не хотим больше отдавать жизнь человека хотя бы даже за самые высокие научные достижения. Мы должны, мы можем, благодаря высокому уровню современной техники, работать без жертв».

Мне не раз задавали вопрос: не вредно ли работать на ледоколе? Могу ответить: атомный ледокол абсолютно безопасен как для экипажа, так и для окружающей среды.

На обоих действующих сейчас атомоходах — на «Арктике» и на «Ленине» (а он в строю уже почти 20 лет) — за все время работы не было ни одного случая профессионального заболевания. Биологическая защита у нас очень надежная. У капитана атомохода «Ленин» Бориса Макаровича Соколова несколько лет назад, например, родилась двойня! Для окружа-

ющей среды, я считаю, более опасны дизельные суда — особенно нефтеналивные танкеры.

На вершине Земли — Северном полюсе — «Арктика» пробыла несколько незабываемых часов. Первый помощник капитана В. Г. Лазарев и секретарь партийной организации А. А. Андрианов прикрепили к флагштоку Государственного флага СССР капсулу с проектом новой Конституции нашей страны и судовой ролью всех участников экспедиции. С огромной радостью встретил экипаж приветственную телеграмму от Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. На митинге, состоявшемся в клубе ледокола, я отметил, что наш приход на полюс стал возможен благодаря специалистам — энтузиастам своего дела, которые прошли замечательную школу на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».

Мы подошли к Северному полюсу 17 августа в 4 часа утра. Он встретил нас туманом и нулевой температурой. К полудню туман рассеялся и даже выглянуло солнышко. Весь день оно ходило по кругу. Штурманы через каждый час уточняли по нему наши координаты. Их расчеты гарантировали точность выхода на полюс в два-три корпуса нашего ледокола. Эти расчеты были подтверждены радионавигационными приборами на судне и искусственными спутниками Земли. Водолазы во время нашей стоянки осмотрели винторулевое устройство и никаких поломок не обнаружили.

Из точки, где, по нашим расчетам, был полюс, мы прочертили по льду круг радиусом 31 метр, который пересек сразу все 360 меридианов. По этому кругу все желающие за несколько минут совершили кругосветное путешествие.

Кое-кто из команды поиграл у борта атомохода в футбол, а некоторые отметили свой приход на полюс ломтиком арбуза. На льду была оставлена бутылка шампанского в качестве сувенира для того, кто ее найдет, когда она продрейфует через несколько месяцев к Гренландии.

В заключение нашего пребывания на макушке Земли в студеные воды Ледовитого океана была опущена памятная массивная плита. Над безмолвным простором Арктики поплыли прощальные гудки. Мы отправились прямо на Мурманск через «окно» между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа.

Через четыре дня, утром 21 августа, в точке 79 градусов 48 минут северной широты и 44 градуса 10 минут восточной долготы атомоход вышел за кромку льда. Последние 600 миль до Мурманска мы шли по чистой воде со скоростью 19,5 узла.

Вот говорят, моряки — суеверный народ. А весь наш переход на Северный полюс и обратно занял ровно 13 суток. Это лишнее доказательство тому, что число тринадцать тоже бывает счастливым.

Я не новичок в ледокольном деле, но чувство удивления перед атомоходом меня не покидает до сих пор. Мы преодолели подходы к полюсу, и это говорит о том, что на вооружении советских полярников находится действительно уникальный ледокол. Но это не значит, что он решит все проблемы. Для того, чтобы обеспечить транспортные перевозки высокими широтами, нужны, во-первых, соответствующие транспортные суда очень большой мощности и прочности. Не исключено, что и ледоколы потребуются более мощные — в два-три раза мощнее, чем, скажем, атомоход «Арктика».

Наш поход к полюсу подтверждает перспективные возможности того, чтобы забираться в более высокие широты. Это не только на треть сократит путь от Мурманска до Берингова пролива, но и позволит ледоколам повести за собой крупнотоннажные суда.

Как известно, Восточно-Сибирское море мелководно. Крупнотоннажный флот, скажем, проливом Санникова и тем более проливом Дмитрия Лаптева не пройдет. Он имеет слишком большую осадку. С этой точки зрения также лучше и выгоднее забираться в более высокие широты. Там Ледовитый океан глубок.

Я полагаю, что вначале будут делаться, вероятно, опыты одиночных проводок транспортных судов вслед за атомоходом. Конечно, придется пойти на определенный риск, но работа в Арктике — каждодневный риск. К тому же я убежден: рано или поздно нужно будет отойти от традиционного морского пути вдоль побережья еще и потому, что у берегов сильное сжатие и зимой и летом. Не случайно руководил экспериментальным рейсом министр морского флота СССР, Герой Социалистического Труда Тимофей Борисович Гуженко. Вопрос об изменении арктических морских путей рассматривается Министерством морского флота СССР. Значит, уже сейчас надо определять наиболее оптимальные морские маршруты, соединяющие восток с западом нашей Родины через Северный Ледовитый океан.

Автономность атомного ледокола «Арктика» огромная, по топливу — трехлетняя. Но продуктами запастись на три года невозможно. Нам их пополняют попутные суда, которые мы проводим через тяжелые льды.

Уже имеются медицинские заключения о том, что длительная работа в Арктике утомляет сильнее, чем в обычных условиях. В ближайшее время будет решен вопрос о сменности экипажей. Тогда проблема утомляемости людей, подолгу оторванных от земли, будет снята, и человек, отработав три-четыре месяца в море, пойдет на отдых, на природу. Отдохнет, с семьей побудет и — обратно на ледокол.

Вообще мне повезло на хороших людей. В этот поход я бы с радостью взял многих капитанов, у которых учился не только профессиональным, но и человеческим качествам. Скажем, капитана Сорокина, сына волжского рыбака, патриарха советского ледокольного флота. Я был у него младшим помощником на ледоколе «Ермак», а затем вторым помощником на «Сибирякове».

Сейчас капитана Сорокина нет в живых, но имя его носят советский ледокол, недавно построенный в Финляндии, и остров в Карском море, недалеко от острова Белуха. По пути на Северный полюс «Арктика» проходила мимо острова Сорокина, а фотография моего учителя была со мной в каюте. Этот изумительный человек научил меня ценить в людях честность и верность избранному делу, научил умению идти на риск.

...По дороге к Северному полюсу, при входе в пролив Вилькицкого, «Арктика» встретилась с атомоходом «Ленин». Трап соединил нас на несколько минут. Мы крепко обнялись с Борисом Макаровичем Соколовым. Оба мы мечтали о полюсе, жили этой мечтой. Теперь один туда шел, а другой оставался работать на трассе Северного Морского пути. Я бы очень хотел, чтобы Соколов был рядом со мной, чтобы «Ленин» также шел к полюсу. Ведь экипажи обоих атомоходов как побратимы. Многие, в том числе я, пришли на «Арктику» с первого атомного ледокола. Недавно оба наши экипажа поделились опытными морскими кадрами с «Сибирью». На этом новом мощном атомоходе, который скоро поведет караваны судов через арктические льды, основные узлы будут обслуживать специалисты, прошедшие школу ледоколов «Ленин» и «Арктика».

Рассказ Ю. С. КУЧИЕВА записал специальный корреспондент «Юности» на атомоходе «Арктика» Олег ЧЕЧИН.

З. ШЕЙНИС



Этот чистый, чаровавший все сердца образ должен жить, чтобы и после смерти служить великому делу коммунизма — надежде угнетенного человечества.

(Из воспоминаний современника)

В зимние дни июля 1921 года, когда в южном полушарии наступила пора муссонных дождей, рабочий люд ряда городов Австралии, Новой Зеландии и Тасмании надел нарукавные траурные повязки. Понять причину траура не могла даже полиция. Между тем по всему континенту из уст в уста летела печальная весть: погиб наш русский друг! И люди повторяли: погиб Фреди! А иные, с трудом выговаривая русское имя, передавали друг другу: погиб Федор!

Кто же был этот Фреди-Федор?

Поздней осенью 1910 года на улице Ян-Ие-Пу в Шанхае к китайцу — торговцу жареными лепешками — подошел европейского вида мужчина, вежливо улыбнулся, купил лепешку и тут же стал ее есть, приговаривая: «Шибко шанго!»

«АПОСТОЛ РАБОЧЕГО ДЕЛА»

Ф. А. Сергеев (Артем). 1920 год.

На следующий день утром этого человека встретил русский эмигрант. Вот что он писал впоследствии:

«Проведя ночь в китайской шлюпке, я еле плелся по Бродвею (так европейцы называли одну из улиц Шанхая.— З. Ш.). На углу я заметил человека — по всему было видно, что он русский,— который разглядывал вывеску английского магазина. В руках у него был карманный словарь в красном переплете. Он не обращал никакого внимания на глазевших на него прохожих и перелистывал словарь, ища необходимые слова.

Я был обрадован этой встречей. Чутье меня влекло к нему, и я старался припомнить, где я видел этого человека раньше. На нем было дешевое демисезонное пальто с бархатным воротником, синяя сатиновая косоворотка, на голове серая английская кепка. Он был среднего роста и крепкого сложения. Меня поразило это умное доброе лицо с большой силой воли. Он был брит, и на вид ему было не более 26 лет.

Настолько было сильно у меня чувство радости при этой встрече, что я тут же вступил с ним в разговор.

— Вы русский? — обратился я к нему. Он, загадочно улыбнувшись, окинул меня быстрым взглядом с ног до головы. Как видно, мы были оба довольны встречей и, ничего не расспрашивая друг друга о прошлом, пошли вместе.

Мой новый приятель назвался Андреевым, а я Любимовым».

Настоящая фамилия Любимова была Наседкин. В указателе участников первой русской революции, опубликованном в Москве в конце двадцатых годов, ему уделено несколько строк: «Наседкин, Владимир Николаевич, русский, сын музыканта. Родился в 1884 году в Харькове. Прошел 5 классов реального училища. С 1903 г. по 1904 г. работал в подпольной

типографии и состоял членом боевой дружины РСДРП в Харькове под кличкой Владек... В 1908 году бежал в Австралию. Сейчас беспартийный, работает в Харькове на производстве».

Наседкин, конечно, встречался со своим новым знакомым еще в Харькове. В 1905 году оип оба находились в этом городе п принимали участие в революцни. Но фамилия этого человека была ие Андреев, а Сергеев, Федор Андреевич Сергеев. В рабочих кварталах Харькова, Петербурга, Перми — всюду, где он появлялся, его называли Артем.

Приведу краткие биографические даиные о Сергееве.

Он родился в крестьянской семье 7 марта 1883 года в селе Глебово, Фатежского уезда, Курской губернии. Родители его переселились в Екатериослав, ныиешний Днепропетровск, где отец занялся подрядными строительными работами. Мальчик попадает в атмосферу промышленного города, с развивающимся и крепнущим рабочим классом. Там он поступает в реальиое училище, сближается с интеллигентной, народнически настроенной семьей.

В 1901 году Сергеев уже в Москве — студеит Высшего техиического училища. Впереди карьера инженера, обеспечиное будущее. В ту пору в России инжеиеры — на вес золота, своих было мало, приглашали из Франции, Бельгии, других стран, платили большие деньги.

Это было время после первого съезда Российской социал-демократической рабочей партии. О съезде Сергеев был наслышан; о том, что скоро соберется второй,— поиятня не нмел. А вокруг Москва: булыжные мостовые, сорок сороков церквей, кабаки, охотнорядские купцы и городовые на каждом углу. Все, казалось, построено напрочно, на века, незыблемо. Но это только так казалось. Петербургский пролетариат идет впереди, но и Москва уже заявляет о себе все громче: за три года до нового века в первопрестольной начал действовать Московский союз борьбы за освобождеиие рабочего класса. На заводе «Гужон», на «Трехгорке», в паровозиых депо — всюду, где есть рабочий класс, уже живет, формируется, растет новая сила.

Но и власти не дремлют. В московскую охранку послали опытнейшего и хитрейшего организатора провокаций — Сергея Васильевича Зубатова. В молодости он сам баловался революционными идеями, потом пошел в услужение к жандармам. Через семнадцать лет, когда скииут царя, Зубатов собственноручно набросит себе иа шею петлю, удавится, страшась народиой кары. Но пока до 1917 года еще далеко, и начальник московской охранки Зубатов — хозяин положения, вводит в полицейскую науку и практику новые методы: в противовес подлиным организациям борьбы за освобождение рабочего класса создает полицейские «рабочие союзы», пытается изнутри разложить рабочее движение.

Сергеев приехал в Москву, когда там начался подъем студеического движения, от которого не стояло в стороне Высшее техническое училище. Им было над чем задуматься, этим юиошам, вступившим в жизнь на заре двадцатого века. Газеты выражали верноподданнические чувства царствующему дому, но и пророчали великий взлет иауки. А как же она, эта наука, будет развиваться в нищей стране, где подавлена человеческая мысль?

Сергеев собрал друзей п предложил создать социал-демократическую организацию. Ее цель — свергнуть царя, установить в России демократический строй. Он, конечио, не знал, как будет выглядеть этот строй, но действовал решительио:

— Трусливые должны уйти, а кто выдаст Зубатову студенческую организацию, пусть пеняет на себя.

Никто не ушел, никто не выдал. Под иосом у Зубатова целый год действовала социал-демократическая группа: в Высшем техиическом училище устраивались сходки, тайные собрания, читки ленинских произведеиий, беседы в рабочих кружках. Начальство не сразу разобралось, кто вожак. Учился Сергеев хорошо, слишком пытлив казался, притягивал к себе людей.

В конце 1902 года Сергеева арестовали. В следственной тюрьме продержали несколько недель, иичего от него ие добились и отправили в воронежский острог.

В тюрьме Сергеев много читает, изучает английский язык. Знает, что в Россиии учиться больше не придется. Надо бежать за границу, накопить знаиий, а потом снова в Россию на подпольную работу. После тюрьмы он оказался во Франции — в парижской Высшей русской вольной школе: туда послала его большевистская партия.

Высшая русская вольная школа, или, как она называлась, Высшая русская школа общественных наук, была основана на рубеже нашего века для русских политических эмигрантов. Незадолго до приезда Федора Сергеева в Париж был утвержден новый Распорядительный комитет школы во главе с известиым учеиым Ильей Ильичом Мечииковым, который уже много лет находился в Париже и работал в Пастеровском институте.

Преподаваиие в Высшей русской вольной школе, согласно статье 2 Устава Русской группы Международного союза для развития наук, искусства и образования в Париже, велось преимуществеино на русском языке, а лекции там читали известиые русские и иностраиные писатели, поэты, ученые, юристы: Климент Аркадьевич Тимирязев, Констаитин Дмитриевич Бальмонт, Петр Дмитриевич Боборыкин, Федор Федорович Эрисман, Анатоль Франс, Георг Брандес и другие. В феврале 1903 года лекции по аграрному вопросу читал здесь Владимир Ильич Ленин.

Большим успехом у слушателей пользовались лекции Тимирязева о дарвинизме. Читал он великолепно, захватывая слушателей, и после каждой лекции его награждали шумиыми аплодисментами, а когда он уезжал в Петербург, то все с нетерпением ждали его возвращения.

Успех сопровождал и лекции поэта Константиа Бальмоита. Высокий, красивый, с копной рыжих волос, Бальмонт был тогда в зеиите своей вскоре поблекшей славы. Еще в коице прошлого века он выпустил сборник стихов против монархии, был вынужден эмигрировать и вошел в профессорское созвездие Высшей русской вольной школы. Его звучные, напевные стихи привлекали слушателей школы. Выступал Бальмонт и на вечерах, которые устраивала русская революционная колония.

Школа помещалась на улице Сорбонны, в доме 16. Сергеев сиял дешевую комнатку в мансарде близлежащего дома. Через год он настолько освоил французский, что начал посещать лекции Аиатоля Фраиса, прослушал цикл о французской литературе. Еще не был написан «Остров пингвинов» — острая сатира на современное ему буржуазное общество,— но уже тогда Анатоль Фраис завоевал широкие симпатии и литературными произведениями и своей мужественной позицией во время нашумевшего дела Дрейфуса, когда вся прогрессивная Франция поднялась против клерикальной шовинистической реакции.

Сергеев с жаром и неиссякаемым любопытством листал старые газеты, расспрашивал о деталях этой борьбы. Как-то вечером, после лекции Анатоля Франса, он попросил разрешения проводить писателя. Франс любил вечерние прогулки, и они ушли к «потухшему очагу», на набережную Малакэ, где когда-то находилась книжная лавка и крошечная типография отца писателя — Франсуа Тибо — и где юный Анатоль Тибо — будущий писатель Анатоль Франс — впервые увидел и познакомился с братьями Гонкурами и другими знаменитостями Парижа.

Они долго шли вдоль Сены — высокий грузный Анатоль Франс в своей неизменной академической шапочке и молодой русский парень из Фатежского уезда, Курской губернии — и говорили о прошлом, настоящем и будущем человеческого общества. И кто знает, быть может, именно в те годы тесного общения и задушевных бесед с этим и другими российскими революционерами и возникли мысли и чувства, которые с такой несокрушимой логикой и ясностью выразил семидесятишестилетний Анатоль Франс в 1920 году, заявив всему миру: «Я большевик» — и вступив в коммунистическую партию.

Меньше двух лет провел Федор Сергеев в Париже. Близилась революционная буря, и партия отозвала его в Россию.

Некоторое время он провел в Екатеринославе, а затем по поручению ЦК РСДРП выехал в Харьков.

Харьков — начало нового этапа революционной деятельности Федора Сергеева, который отныне в целях конспирации получает партийный псевдоним «Артем» и надолго остается в России для подпольной борьбы, становится профессиональным революционером, признанным вожаком харьковского пролетариата. Трудовой люд называет его «Апостолом рабочего дела», присваивает ему этот почетнейший титул, не предусмотренный никакими указами.

Какие же человеческие качества принесли ему этот «сан»?

Современники, знавшие Артема в те годы, так определили черты его характера: он честен, неподкупен, стоически выдерживает любые трудности, беспредельно предан рабочему классу. Вот одна из характеристик того времени:

«Он и по внешности живет, как апостол, как «птица небесная». Он не имеет ни денег, ни свободной одежды, ни крова. У него нет угла, где он мог бы остаться один и отдохнуть. Он ночует в чужих квартирах и постоянно их меняет, потому что за ним неустанно охотятся жандармы и полиция. Преследуемый охранкой, он иногда уходит от нее ночью и ночует под открытым небом. После одной такой бесприютной ночи он явился в простреленном пальто. Другой раз, уходя от погони, он провел ночь в камышах и, явившись с рассветом на квартиру товарища, по свойственной ему скромности и нетребовательности, промокший и усталый, заснул на дворе, чтобы не потревожить сна других».

Когда Артем приехал в Харьков, там не было большевистской организации. Он создал ее. Начал Артем с молодежи, преподав ей азы построения ленинской партии.

Рабочий Бондаренко свидетельствовал: «Артем вел среди молодежи работу, не считаясь ни с какими препятствиями, не останавливаясь ни перед какими преградами».

Артем организовал большевистскую группу на паровозостроительном заводе и других предприятиях, пропагандировал идею вооруженного восстания. Полиция и жандармы назначили за его поимку значительную сумму. Рабочий Подлесный, работавший вместе с Артемом, рассказывал: «За Артемом охотилась вся харьковская жандармская и полицейская свора, но поймать его ей не удавалось. Артему было предоставлено достаточно конспиративных квартир, где он работал не покладая рук».

И вот один из эпизодов той поры. В Харькове на так называемой Сабуровой даче находился конспиративный центр большевиков. Там некоторое время скрывался Артем. Подпольный центр обнаружила полиция, и Артему пришлось ютиться на частных квартирах. В те дни в здании земской управы проходили собрания интеллигенции, сочувствовавшей большевикам. Артем решил выступить на собрании. Как только он там появился, пешая и конная полиция оцепила здание. Жандармы знали Артема в лицо, и поимка его казалась неизбежной, вспоминал рабочий Бассалыго. Все выходящие из здания проходили сквозь шеренгу полицейских. Уйти было некуда. Но был на собрании прапорщик, сочувствовавший большевикам. Он поменялся с Артемом платьем, и Артем, надев на голову башлык, прошел через шеренгу козырявших ему жандармов и городовых.

В 1905 году в Харьков приехал Милюков, позднее ставший лидером буржуазной партии кадетов, а в феврале 1917 года — министром иностранных дел Временного правительства. Опытный оратор, историк, приват-доцент университета, Милюков выступил при большом стечении народа. Это была речь буржуазного краснобая, который знал, как завлекать массы красноречием и туманными лозунгами. Он утверждал, в частности, что главной силой русской революции должно стать крестьянство.

После Милюкова на импровизированную трибуну поднялся двадцатидвухлетний Артем. Огромная толпа притихла, ожидая, что он скажет, как ответит всероссийски известному политику.

Милюков сквозь пенсне рассматривал коренастого парня в рабочей куртке. Спросил, кто таков? Чиновник из канцелярии губернатора, сопровождавший Милюкова, прошептал на ухо:

— Не извольте беспокоиться. Полагаю, местный вожак. Их тут как собак нерезаных развелось.

Что-то, видимо, насторожило Милюкова — возможно, то внимание, с которым встретили Артема. Милюков покосился на чиновника, еще раз смерил Артема глазами, ожидая, что́ тот скажет.

Артем волновался, но довольно быстро овладел собой. В огромном цехе наступила та тишина, которая в мгновение ока может обернуться грозой. Артем повернулся к Милюкову, улыбнулся своей подкупающей улыбкой, спросил:

— Уважаемый профессор, разрешите задать вопрос.

Милюков снял пенсне, снова надел, вежливо ответил:

— Прошу вас.

— Вы утверждаете, что крестьяне должны стать главной силой революции.

— Да, конечно. Поскольку Россия преимущественно крестьянская страна. Так или не так?

— Допустим. Но я хочу спросить: кто разрушил Бастилию и отправил на гильотину Людовика? — И, повернувшись к рабочим, пояснил:—Это я про французского царя спрашиваю.

— Видите ли...— начал Милюков, улыбаясь той снисходительной улыбкой, какой привык одаривать незадачливого студента.

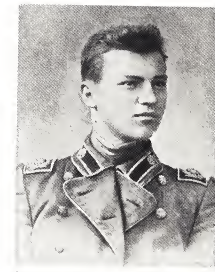
— Прошу ответить на вопрос,— прервал Милюкова Артем.

— Извольте. Парижане.
— Парижские крестьяне? — наступал Артем.
— Рабочие, ремесленники, люмпен-пролетарии.
— Вот это верно. Рабочие и ремесленники.

Артем, резко повернувшись к рабочим, запрудившим цех, горячо начал говорить о рабочем классе как ведущей силе революции. О том, что крестьяне пойдут за рабочим классом. Но не все. Мужик разный есть. У кого амбар каменный, а у кого хата на курьих ножках и вся задница латаная-перелатанная...

Когда в Харьков пришло известие, что в Стокгольме соберется IV съезд РСДРП и туда надо выделить делегата, решение было принято сразу: послать Артема.

Ему только что исполнилось двадцать три года. Перед отъездом рабочие устроили складчину, купили своему делегату новое пальто и кепку; Артем отрастил усы, чтобы жандармы не узнали, и отправился в дальнюю дорогу.



Федор Сергеев — студент Московского высшего технического училища. 1901 год.

IV съезд РСДРП открылся в Стокгольме 10 апреля 1906 года по старому стилю (23 апреля по новому стилю).

Артем пробирался в Стокгольм через Финляндию и прибыл туда накануне открытия съезда. После Парижа Стокгольм был второй западноевропейской столицей, которую он увидел. Устроившись в небольшой гостиничке, которую сняли для делегатов съезда, Артем пошел осматривать Северную Венецию с ее бесчисленными озерами и прудами, по которым плавали черные и белые лебеди.

На берегу озера Артем издали увидел Ленина. Владимир Ильич приехал в Стокгольм накануне вечером. Ленин шел с близкими друзьями — Красиным и Воровским,— что-то оживленно рассказывал своим спутникам, потом расхохотался, указывая рукой на озеро, где обычно спокойные лебеди неожиданно подрались; черный, изогнув длинную шею, кинулся на белого и начал его бить клювом, а тот, величественно взмахнув крыльями, начал делать круги, как бы дразня забияку...

— Драчуны, точь-в-точь наши милые меньшевики,— донеслось до Артема.

Он хотел было подойти к Ленину, но решил не мешать беседе.

...Съезд обещал быть сложным. Впервые после двухлетнего перерыва обе фракции РСДРП — большевиков и меньшевиков — собрались для совместной работы и восстановления единства партии, но удастся ли это сделать, еще никто не знал. После 1905 года и ожесточенных баррикадных боев перед партией возник ряд сложных вопросов: о роли пролетариата в буржуазно-демократической революции, о вооруженном восстании и временном революционном правительстве, об отношении к крестьянству. Еще до революции 1905 года «Искра», находившаяся тогда в руках меньшевиков, и большевистская газета «Вперед», издававшаяся в эмиграции, вели по этим вопросам дискуссию.

На следующее утро после приезда Артема в небольшом зальце собрались почти полтораста делегатов, и уже с первых минут он понял, какие предстоят баталии, ибо даже выборы в президиум съезда, в который вошли Ленин, Плеханов и Дан, сопровождались спорами.

Артем не спускал глаз с Ленина. В эти дни Владимиру Ильичу исполнилось тридцать шесть лет. Артем ловил себя на том, что то и дело сравнивает Ленина с Плехановым. Пятидесятилетний Георгий Валентинович Плеханов выглядел патриархом, и это впечатление усугублялось еще и тем подчеркнутым, почти подобострастным отношением его сторонников, которые тучей вились вокруг него. А он, весь погруженный в себя, высказывал с трибуны съезда и в кулуарах мысли, которые безоговорочно поддерживались меньшевистской фракцией.

На второй день съезда вышла неприятность. Меньшевики, игравшие решающую роль в мандатной комиссии, воспользовались этим и объявили неправомочными несколько большевистских мандатов. Кассировали они и мандат Артема, придравшись к какой-то мелочи.

Артем сначала опешил, потом, накаляясь, сжав на всякий случай кулаки в карманах, подступил к председателю комиссии:

— Вот так да! Тысячи верст проехал, от жандармов скрылся, а вы меня объявляете недействительным. Что ж я скажу своим в Харькове?

Председатель мандатной комиссии был непреклонен:

— Товарищ, вопрос не дискутабелен.

Артем ушел бродить по городу. У пруда, где он позавчера встретил Ленина, сел на скамейку. По стеклянной глади неслышно плавали лебеди. Вдоль дорожки высокие дородные шведки в длинных платьях катили детские коляски с толстыми, розовощекими малышами. Было тихо и скучно.

Артема нашел на бульваре Воровский, увел на заседание, сказал, что большевистская фракция заявила резкий протест и настаивает на утверждении Артемового мандата. Но даже если ничего не выйдет, Артем должен присутствовать на съезде.

Артем вместе с Вацлавом Вацлавовичем вошел в зал в тот момент, когда Ленин поднялся на трибуну. Усевшись на первый попавшийся стул, Артем стал слушать Ленина. Владимир Ильич говорил об уроках революции и нынешнем положении в России. Говорил, нанизывая одну мысль на другую, подкрепляя их фактами, аргументами, которые, как плиты, ложились в фундамент, создавая прочную основу доказательств и разрушая аргументы противников.

Воровский шепнул Артему, что Ленин выступает второй раз и в ближайшие дни произнесет по поручению большевистской фракции большую речь о

возможности вооруженного восстания. Артем с жгучим интересом слушал речь Ленина, изредка бросая взгляды на Плеханова. Георгий Валентинович, чуть подавшись вперед, приложив ладонь к уху, наблюдал за Лениным, делал заметки, изредка обменивался словами с рядом сидящим Даном, но лицо его оставалось по-прежнему непроницаемым.

Вечером Артем встретился с Владимиром Ильичем. Ленин расспросил о настроениях в Харькове, хотел знать, что там думают о вооруженном восстании, если эта задача окажется неотложной и создастся благоприятная обстановка для выступления рабочего класса. Артем сказал, что за Харьковом остановки не будет: на Паровозостроительном давно уже к этому готовы. Рассказал и о своем споре с Милюковым...

Артем все дни был на заседаниях. За несколько дней до окончания съезда он снова встретился с Лениным в столовке, где обедали делегаты. Ленин оказался с Артемом за одним столом, принес из буфета две кружки пива, и они весь обед проговорили о тактике большевиков, о России, о Волге, и чувствовалось, что Ленин очень тоскует по родным местам.

25 апреля (8 мая) съезд закончился. Артем вместе с другими делегатами выехал через финский город Або в Петербург и, не задерживаясь в столице ни одного дня, отправился в Харьков, чтобы отчитаться перед тамошней большевистской организацией.

Весть о возвращении Артема сразу же разнеслась по городу.

Вечером на Нетечинской улице в мастерских собрался рабочий народ Харькова, чтобы послушать своего делегата. Артем рассказал обо всем, что слышал и видел, о решениях съезда и позиции большевиков по всем вопросам. И, конечно, о встречах с Владимиром Ильичем.

После доклада задали много вопросов, но наружный рабочий пост сообщил, что к мастерским мчится наряд конной полиции. Собрание пришлось закрыть. Артем попытался скрыться, но на него и сопровождавшего его рабочего Бассалыго бросились шпики и городовые.

Бассалыго рассказывал: «Загремели выстрелы, пуля попала в развевающуюся полу пальто Артема. Федор споткнулся и еле не упал. Но тут мы вскочили во двор, закрыли ворота на засов и по заборам и крышам стали уходить. Городовые начали погоню по крышам, гнались и стреляли. С крыши двухэтажного дома Артем прыгнул во двор военного лазарета, где были солдаты. Он сказал им, что за ним гонится полиция, что он социал-демократ. Солдаты дали ему шапку (кепку во время погони Артем потерял) и вывели его через лазарет на улицу, откуда он скрылся. При прыжке Артем повредил ногу, и ему пришлось несколько дней отлеживаться».

Серая кепка пропала. Артем посмеивался: кепки жалко...

Вооруженная борьба против царизма не кончалась. Подготовка к новым боям велась и в Харькове. Ее возглавил Артем.

Но провокатор выдал его, и Артем снова оказался за решеткой.

Артем и в тюрьме не тратит время зря, размышляет о причинах поражения, передает на волю друзьям через верных людей письма, в которых излагает свои мысли об ошибках, о планах борьбы на будущее.

И учится, старается использовать каждую свободную минуту.

НА УРАЛЕ

В этот горнозаводский район Артем прибыл после очередного побега из тюрьмы. Революция 1905—1907 годов пошла на убыль, организации большевиков были разгромлены. По поручению Пермского комитета целый год Артем провел на Урале. Он и здесь становится популярнейшей фигурой, любимцем рабочих. Современник Артема, свидетель его деятельности на Урале, И. Н. Мошинский, писал: «Артем свыше полугода странствует пешком с котомкой за плечами, без гроша в кармане — от завода к заводу, от поселка к поселку. Алапаиха, Надеждинские, Тагильские заводы — это были главные вехи задуманного им путешествия. Всюду он вносит дух революционной бодрости, товарищеской спайки, сознательной классовой солидарности. Все для него здесь было ново. И люди, и природа, и горные заводы — все здесь было особенное. Но Артем быстро освоился с окружающей обстановкой, применился к ней, сливался со средой, которая еще вчера казалась ему чуждой.

Приходя на новое место, не имея ни партийных явок, ни старых связей, Артем умудрялся очень скоро находить нужных ему людей, хороших, отзывчивых товарищей... Ему были рады везде и всюду. Умное, прекрасное лицо симпатичного пришельца, приветливая улыбка и веселый задор, никогда не покидавшие нашего бродячего организатора, располагали к нему всех посетителей лачужки, в которой остановился Артем, и, как всегда, открывали ему сердца рабочих».

После спада революции обстановка на Урале становилась все более сложной. Пессимизм и неверие в успех проникли в сердца наименее устойчивых революционеров. Артем столкнулся с так называемой «лобовщиной». А. Лобов, рабочий завода Мотовилиха, был активным участником революции 1905 года, но после спада революции сколотил эсеро-анархистский отряд и стал террористом. Артем решительно выступил против действий Лобова.

Позже он писал Екатерине Феликсовне Мечниковой, жене брата И. И. Мечникова, с которой он познакомился в Париже и вел оживленную переписку в годы эмиграции: «В этой борьбе я столкнулся с группой авантюристов, таких же беспринципных, как и наглых. Авантюризм везде по существу одинаков и различается лишь по внешности, одевая иной костюм для дворца, иной для игорного дома и иной для рабочего квартала... Я никогда, я так думаю, не стану изменником движению, которого я стал частью. Никогда не буду терпелив к тем, кто мешает успехам этого движения. Я был, есть и буду членом своей партии, в каком бы уголке земного шара я ни находился. Не потому, чтобы я дал аннибалову клятву, а потому лишь, что я не могу не быть мной. Но я всегда был и не могу не быть искренним».

В марте 1907 года полиция, давно выслеживавшая Артема, нагрянула во время заседания Пермского комитета партии, арестовала весь состав обкома во главе с Артемом. Его избили до полусмерти и бросили за решетку.

В тюрьме Артем заболел тифом. Могучий организм справился с тяжким недугом. Потом его перевели в страшные Николаевские арестантские роты. Там забивали насмерть. Большевики, уцелевшие в Николаевских ротах, рассказывали: «У Артема хватало еще силы ободрить искалеченных соузников».

После каторжного года в Николаевских ротах его осудили дважды: за подпольную работу на Урале и за организацию вооруженного восстания в Харькове. Приговор — вечная ссылка и лишение всех прав. На

поселение определена Иркутская губерния. Из тюрьмы Артем тайно пишет друзьям: «Меня в Иркутскую губернию привезут, выпустят где-нибудь при волости, припишут к ней, выдадут паспорт «крестьянину из поселенцев»,— и «иди, Федя, на все четыре стороны», а где придется остановиться — не скажу, потому что и сам этого не знаю. Знаю только, что на месте не буду жить...»

Это был сигнал друзьям о готовящемся побеге. Он и в ссылке не мог усидеть на месте. Потребность быть с людьми, обсудить с ними практические вопросы, связанные с судьбой России, настолько велика, что Артем, не обращая внимания на запрет жандармов, уходит в дальнее село, чтобы повстречаться с ссыльными. 21 августа 1910 года он писал своей харьковской знакомой Ефросинье Ивашкевич: «На днях уходил в Нижне-Ильинск, думая, что дорога рассеет немного, да и новое общество поможет. Все же тут есть и товарищи, есть и просто интересные люди... Как-никак — моцион, с заходом по пути в села, 200 верст, новые лица, разговоры, впечатления. Ничего».

Действительно, ничего! Прошел двести верст по нехоженым тропам Сибири, чтобы увидеть людей, поговорить с ними.

Вечная ссылка, к которой его приговорил царский суд, была прервана Артемом. В сентябре 1910 года он бежит из Сибири в Китай. И вот строки из его письма Ефросинье Ивашкевич от 1 ноября 1910 года: «...пишу Вам, сидя в вагоне Южно-Маньчжурской ж. д., находясь уже за пределами досягаемости. Вышел я из «дому» с 5-ю рублями в кармане и большими проектами в голове... В Харбин приехал с 70-ю копейками в кармане... Я, что называется, сел на мель. Хорошо, меня выручил частный адрес».

Через несколько недель Артем уже был в Шанхае, где и произошла его встреча с Владимиром Наседкиным на улице Ян-Ие-Пу.



Ф. А. Сергеев — Артем (сидит слева) со своими давними друзьями — участниками подпольной работы на Урале. Снимок 1921 года.

РАЗМЫШЛЕНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ...

Семь лет продолжались странствия Артема по разным странам. Из Харбина он уехал в Корею, оттуда сразу в Японию. Недолго пробыл он в этой стране, но как пытливо он всматривается в окружающий мир, как пристально разглядывает людей, стараясь понять их жизнь, мышление, стремления. В сущности, позади крошечный исторический отрезок времени после победоносной для Японии войны с русскими, гибели русского флота при Цусиме и разгрома русской армии на сопках Маньчжурии.

Чем-то в ту пору Япония напоминала милитаристскую Германию после победоносной для нее франко-прусской войны, придавшей прусскому милитаризму открыто вызывающие черты. Глеб Успенский, посетивший в ту пору Берлин, писал: «Вы только переехали границу,— ...хвать, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют понятия... Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя... Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нем сидит образцовый сознательный зверь...»

Удивительно перекликается эта характеристика с той, которую Артем дает Японии в своем письме к Е. Ф. Мечниковой. Он тонко описывает красоты природы, но она не заслоняет главного. Вот строки из его письма: «...я видел богатейшую природу. Ночи в Нагасаки были волшебно хороши... Это дивная сказка. Их описать нельзя. По обрыву гор лепятся улицы, скрытые в тени тропических растений. Вдали внизу рейд. Кругом горы. И все это залито матово-серебряным лунным светом... Как мало гармонируют с этим видом забитые и вялые, тщедушные жители японского города и спесивая солдатчина».

Прусский солдатский Берлин описал знаменитый писатель, долго наблюдавший тамошнюю жизнь. Заносчивую японскую солдатчину зафиксировал своим острым оком двадцатишестилетний революционер.

На чужбине еще ярче выкристаллизовываются в Артеме те черты, которые снискали ему всеобщую любовь и уважение на родине. Личность думающая, обаятельная, целеустремленная, он завоевывает признание и в Китае. И вновь проявляет себя, как организатор русских рабочих, где бы его с ними ни свела судьба. Все, кто знал Артема, единодушно отмечали: он ничего не хотел для себя, а только для других. Встретив в Шанхае бездомного Наседкина, он ведет его в свою лачугу, отдает ему последние гроши, собирает вокруг себя русских скитальцев, по разным причинам оказавшихся на чужбине,— «Сашку-колбасника», «Саньку-кочегара», «Евгения-пекаря», еще нескольких русских, потерявших веру в жизнь, в будущее, и организует коммуну. Не без удовольствия он пишет об этом Екатерине Феликсовне: «Теперь у нас есть «коммуна». Теперь русскому беглецу или неудачнику не приходится, если он порядочный человек, скитаться по улицам Шанхая и просить сытых о милости. Теперь он идет на квартиру и живет в ней, как дома».

Через несколько недель этих опустившихся людей, которых он подобрал на улицах Шанхая, нельзя узнать. Они прилично одеты, бриты, вместо водки, в которой эти полубродяги гасили свое горе, они при-

страстились к книгам, у них появились и другие, неведомые им дотоле интересы. Наседкин, вступивший в Артемову коммуну, писал: «Артем любил шутку, смех, перекинуться в картишки «501» и «66». Никогда я не видел, чтобы он курил или пил; любил шахматы, любил петь; часто затягивал: «На высоких отрогах Алтая стоит холм, и на нем есть могила совсем забыта́я».

Артем и все члены коммуны работали грузчиками, кули. Английские господа из так называемого «сеттльмента» яростно негодовали: русские работают в качестве кули и тем самым подрывают престиж европейцев. В английской газете, издававшейся в Шанхае, появилась статья, требовавшая выселить русских из города, дабы «спасти честь джентльменов». Артем, читая статью, посмеивался: перебесятся господа! В свободное время он водил коммунаров в музеи, подолгу беседовал с русскими матросами, приходившими в Шанхай на пароходах Добровольного флота, расспрашивал о России. И пристально присматривался ко всему, что его окружало,— к быту, настроениям китайцев, национальным особенностям.

Чтобы заработать больше денег для поездки в Австралию, куда Артем твердо решил перебраться, он поступил в булочную. Это была тоже нелегкая работа: «В 7-м часу я в магазине. В 9 $^1/_2$ часов ухожу усталый и разбитый и сплю до половины шестого и снова иду в магазин. Походя занимаюсь наблюдением над окружающим миром».

Китай — огромная страна с древней культурой. Артем наблюдает, вдумывается в окружающую действительность, иногда негодует. Он говорил:

— Как-то один европеец, разносчик хлеба, ударил в нашей булочной китайца. Китайцы возмутились. Они горячо доказывали мне, что тот европеец не смеет бить китайца, потому что он сам кули. Что если б я ударил того китайца — это пустяки. Я уже перестал заниматься физическим трудом. Я — служащий. Я имею право бить. Я человек высшей касты. Как вам нравятся эти рассуждения людей, которые сами превращаются в рабов, как только имеют дело с хозяином? Это еще худшие рабы, чем сами кули.

Артем приходит к выводу, который он высказал в своих письмах издалека:

— Китайская масса,— констатирует Артем,— видит врага пока только в европейцах. В своей буржуазии она видит вождя и защитника от притеснителей. И вот эта буржуазия, эксплуатируя массу, как предприниматель, командуя массой, распоряжаясь массой, как послушным орудием, ее руками добывая то, что ей нужно в борьбе с чужеземцами,— эта буржуазия уже точит нож для покорной массы...

К теме «европейцы», «белые», к теме национализма Артем то и дело обращается и в своих высказываниях и в письмах из Китая. Он видит и разоблачает методы колонизаторов, терзающих и эксплуатирующих китайский народ. Но он видит и другое: ненависть, которую культивирует в народе китайская буржуазия по отношению к европейцам, пробуждая и разжигая националистические инстинкты. Он писал из Китая 20 февраля 1911 года: «...ничего, кроме презрения, нет у меня, или лучше сказать, я не чувствую по отношению к здешним европейцам. Но и китайцы меня мало радуют... Что такое китайская интеллигенция и чем она живет? Новые общественные отношения выкинули ее из веками насиженных мест. На новых их побивают европейцы. Рабы своих хозяев, они только умеют, что ненавидеть слепо и бестолково европейцев и натравливать на них массу. Они — щупальца, которыми китайская буржуазия охватывает китайскую массу».

Незадолго до отъезда из Китая Артем снова возвращается к этой волновавшей его теме и сообщает свои размышления в письме к Е. Ф. Мечниковой: «В Китае так же легко найти приверженцев революционных партий, готовых в любую минуту наводнить улицы, как легко найти и приверженцев партий контрреволюционных, за которыми также пойдут массы населения... Развитие Китая будет идти неровным, прерывистым шагом. Это ясно».

Это было написано более шести десятилетий назад.

«УДИВИТЕЛЬНО СПОКОЙНАЯ СТРАНА АВСТРАЛИЯ»

Летом 1911 года Артем окончательно решил переехать в Австралию. Билет на пароход стоил дорого — сто долларов, но эту сумму он уже накопил; собрали некоторую толику и члены артемовой коммуны — и решили все вместе податься на далекий континент.

И вот шестеро коммунаров, шестеро российских эмигрантов, бежавших от царского режима,— Федор Сергеев—Артем, Владимир Наседкин-Любимов, «Санька-кочегар», «Сашка-колбасник» и вошедшие позже в коммуну Щербаков, человек огромной физической силы, и украинский парубок Ермоленко,— взяли билеты на пароход «Ст. Албанс» и двинулись в Австралию.

В начале второго десятилетия нашего века, когда Артем с друзьями приехал из Китая в Австралию, там уже было много эмигрантов из России: русских, украинцев, евреев, поляков. Но именно Артем становится душой этой эмиграции, ее организатором и политическим руководителем. Он создает Русский эмигрантский союз, и его избирают председателем Правления.

В Австралии Артем работал грузчиком, кочегаром, каменщиком, рабочим на бойне и лесорубом. Как и все, он испытал всю горечь эмигрантской жизни. Но удивительно быстро он осваивается с окружающим миром, познает его, критически оценивает и находит свое место в этой новой чуждой для него стране.

7 августа 1911 года он пишет Мечниковой: «Мы сейчас расположились лагерем в очень живописном месте. В глубокой котловине, замкнутой со всех сторон горными хребтами, в самом центре белеет сбившийся в кучу группой палаток наш лагерь... Удивительно хорошая, спокойная страна Австралия...»

В этой «спокойной» стране он распознает все — и причины взлета буржуазии, и подчас еле заметные ручейки народного гнева, и методы одурманивания масс.

Классовая борьба ворвалась и в «спокойную» Австралию. В Брисбене вспыхнула забастовка трамвайщиков. Их поддерживали рабочие всех австралийских штатов. Правительство стало на сторону предпринимателей, жестоко расправилось с забастовщиками.

С громадным вниманием и сочувствием Артем следил за борьбой трамвайщиков, поддержал ее авторитетом Правления и всей русской рабочей эмиграции. Забастовка способствовала росту классового самосознания. Успех надо было закрепить, и Артем реализует свой замысел — начинает издавать газету «Австралийское эхо» на русском языке, которая вскоре стала боевым органом русской эмиграции.

Нелегко дались Артему те месяцы. 12 апреля 1912 года он писал Мечниковой: «Перед забастовкой я не имел ни гроша, так как истратился, разъезжая с целью организовать русских и подписку на газету.

За время забастовки я влез в неоплатные, как казалось, долги. Теперь я уже вполне чист... Много хлопот с кружком англичан, который сформировался под конец стачки для изучения экономического и исторического материализма... На днях мне пришлось разъяснить моим приятелям-англичанам разницу между товаром и деньгами (они запутались в этом вопросе). Они меня поняли; но чего мне это стоило и чего им это стоило... Если бы я умел говорить по-английски, как англичанин!».

Он скромничал — английский осилил довольно быстро. Помог австралийский друг, Альфред Присс. С этим человеком Артем сдружится надолго, до конца. Позже, уже находясь в Москве, Присс оставил воспоминания об Артеме, в которых есть следующие строки: «Русские нашли в нем большого друга. Они приносили ему свои корреспонденции для перевода, он помогал им сноситься с их друзьями и товарищами в России и, несмотря на то, что был беден сам, всегда находил возможность помочь тем, кто был в затруднении и приходил к нему».

Интернационалист до мозга костей, Артем больше всего боялся национальной обособленности, понимал, как это вредит рабочему движению. Иные эмигранты, уставшие от тяжкой жизни на чужбине, замыкались в своей скорлупе, ничего не хотели знать, кроме работы и своего домишки, скрупулезно подсчитывали каждый заработанный шиллинг, складывали в кубышку. Артем беззлобно высмеивал таких: «Россия не плюшкиными славна, а петрами алексеевыми. Вверх смотрите, на небо, а не в землю, кроты вы эдакие!»

Любой повод использовал Артем для сближения с рабочими. Австралийцы очень любят спорт. Ирландское землячество, довольно многочисленное в ту пору, часто устраивало спортивные игры, и особенно состязания по перетягиванию каната. Как-то ирландцы пригласили русских принять участие в состязании и выиграли его. Артем несколько дней разъезжал по городам, подобрал команду из молодых крепких русских парней, вызвал ирландцев на соревнование. Ирландцы впервые проиграли состязание.

Артем знал, какую симпатию питают австралийцы к сильным и смелым людям, понимал, что спортивный выигрыш будет способствовать еще большей популярности русских рабочих. И не ошибся. Газеты посвятили успеху русских много статей.

Артем всего себя отдавал политической борьбе в Австралии, но не забывал о России. Мысли его постоянно там, на родине. Он расспрашивает прибывших русских эмигрантов, ведет переписку с друзьями в Петербурге и других городах. И запоем читает литературу, которую ему регулярно присылает Мечникова.

Предгрозовая атмосфера все больше сгущалась в Европе. Рост шовинизма перед первой мировой войной сказывался и в Австралии. Артем выступал за братство и дружбу народов, классовую солидарность всех рабочих. Ни одно, даже на первый взгляд малозначительное событие австралийской жизни не ускользает от его взгляда, и всему он дает оценку на митингах и собраниях рабочих в Брисбене. И в письмах на родину: «В Тасмании,— пишет Артем Мечниковой,— погибла в рудниках почти вся смена, так как не озаботились устроить самые элементарные приспособления на случай несчастья... В Новой Зеландии был погром. Хулиганы-скэбы (штрейкбрехеры.— З. Ш.), вооруженные полицией и под ее защитой, взяли штурмом Народный дом (помещение профсоюзов), врывались в дома, избивали, громили... Женщины, как и мужчины, бежали из города, разоренные, опозоренные и бесприютные... У нас только что закончились выборы в федеральный парламент. Это было горячее время. Мы боролись за право существования, как социалисты, как сознательные представители рабочего класса, который не знает и не желает знать никаких национальных перегородок, расовых предрассудков, у которого отечество — мир, а задача — переустройство общественных отношений и уничтожение неизлечимых зол капиталистического общества — безработных масс, кризисов, голодовок и пр.»

Вскоре после ленских расстрелов, которые громовым эхом докатились до Австралии, Артем решает, что это трагическое событие даст толчок революционному движению в России, и все чаще подумывает о возвращении на родину. На одном из собраний русской революционной эмиграции он говорил:

«Возвращаясь в Россию и применяя не массовую борьбу, а террор, мы ничего не сделаем с мировыми хищниками и палачами. Мы должны развивать борьбу в мировом масштабе. Нам нужна здесь сплоченная организация... Нам нужна теснейшая связь со всеми эмигрантами, как Соединенных Штатов, так и Европы, а также самое тесное и дружное сотрудничество с наиболее передовыми рабочими Австралии».

В 1914 году Артем собрался было возвратиться в Россию, но разразившаяся мировая война задержала его на чужбине. Потом пришел Февраль 1917 года. Русская колония узнала о свержении царя, как и все эмигранты, разбросанные во всех частях света,— через газеты. Радостные, возбужденные, они обменивались телеграммами, письмами, словно именинники, принимали поздравления от австралийских друзей. И сразу же начали собираться в дальний путь.

Артему не вдруг удалось уехать: он считался «натурализованным» — английским подданным, и его не отпускали в Россию. Он горько улыбался, скрипел тихонько зубами, говорил: «Врете, господа, все равно уеду!»

В гавани Артем провожал пароходы с русскими эмигрантами. Прощались шумно: пели, целовались, плакали. Артем старался быть веселым, кричал у трапа:

— Ну, давай, ребята, до встречи там...

— И ты давай, Артем! Пока!

Присс тоже провожал русских, привел в гавань горняков и трамвайщиков, которых русские поддержали во время знаменитой забастовки. Трамваи в тот день в городе не ходили. Присс кричал:

— Пок-а, друза. Гуд бай!

Махал шляпой. Трамвайщики тоже махали шляпами. Кричали «Гуд лак!».

Весь март и половину апреля Артем ходил по офисам, требовал, чтобы его отпустили. Чиновники отвечали отказами и тыкали пальцами в закон, напечатанный на роскошной бумаге.

Артем плюнул на офисы, поступил работать на предприятие фирмы «Миит компани». Фирма послала его в порт Дарвин на севере Австралии. Артем тайно сел на пароход, идущий в Китай, и был таков.

В конце апреля 1917 года Федор Андреевич Сергеев прибыл во Владивосток, а в начале мая он уже был в Луганске.

После отъезда Артема из Австралии большинство русских эмигрантов распрощалось с далеким континентом, и к лету русская революционная колония там сильно поредела, а потом и вовсе перестала существовать. Умолкло и детище Артема «Австралийское эхо», выходившее последние годы под названием «Жизнь рабочего». В конце года австралийские власти запретили газету.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА РОДИНЕ

В мае 1917 года Артем приехал в Харьков. Десять лет он не был в этом городе. Артемова гвардия, подростки, которые шли за ним в огонь и в воду, теперь были главной силой на паровозостроительном, электромеханическом и других заводах — повсюду, где был рабочий класс. В цехе, где Артем двенадцать лет назад скрестил шпаги с Милюковым, его окружили, подхватили на руки и понесли к трибуне. Теперь Милюков был профессором, стал министром иностранных дел Временного правительства, Артем — вернувшимся изгнаиником. Кто же из них оказался прав? Милюков?

Так могли думать те, кто не видел дальше своего носа. Артем, верный ученик Ленина, смотрел вперед. Теперь, говорил он рабочим, на исторической повестке дня стоит вопрос о пролетарской революции. Буржуазно-демократическая революция Февраля — это промежуточный этап.

Рабочие верили ему. Но были и сомневающиеся. В Харькове хозяйничали меньшевики, эсеры, кадеты. Артем начал с ними ожесточенную борьбу.

После июльских событий ЦК большевиков вызвал Артема в Петроград. Его избрали членом ЦК РСДРП(б) и членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. В дни Октября он был рядом с Лениным, с вождями большевистской партии. Теперь Милюков вместе с «временными» боролся против Советов. У власти уже иаходился рабочий класс и его партия большевиков. Но впереди была длительная и жестокая борьба за новый мир.

Тотчас же после взятия власти в Петрограде Артема сразу же направили в Харьков. Вечером 27 октября (по старому стилю) он уже был там. Силы войск, верных большевикам, и рабочих отрядов Красной гвардии захватили здесь вокзал, банк, почту, телеграф и правительственные учреждения. Но часть гарнизона перешла на сторону врагов. Артем начал переговоры с мятежными, контрреволюционными частями. Солдаты этих частей, подстрекаемые эсерами, арестовали его. Уже был дан приказ о его расстреле. Минуты оставались до приведения приказа в исполнение, когда в расположение гарнизона ворвались отряды красногвардейцев.

В ленинских томах есть множество телеграмм, писем, заметок и статей, в которых фигурирует Артем. Владимир Ильич пишет Артему, говорит о нем в связи с его деятельностью в Харькове, Донбассе, Башкирии, Москве.

В 1917 году Временное правительство создало так называемый Монотоп — Совет по делам монополии торговли донецким топливом. После Октября Монотоп иачал политику саботажа, ие давал топливо для транспорта и промышленных предприятий Центра Советской России. Артему было поручено возглавить борьбу против саботажников. Отвечая на вопросы рабочих Александро-Грушевского района, обеспокоенных создавшимся положением, Ленин сказал им: «По приезде тов. Артема из Харькова будет выяснен вопрос о Монотопе».

В суровых и сложных условиях велась эта борьба против саботажа. Летом 1918 года кайзеровская армия, а затем в 1919 году и Деникин осуществили наступление иа жизненные центры Украины. Особенно трагическое положение сложилось в районе Харькова.

И вот один из эпизодов борьбы в те месяцы.

Вражеские армии приближаются к Харькову, и город вот-вот будет взят противником. А на железнодорожных путях сорок пять товарных составов, груженных хлебом и другими товарами для голодной Москвы. Ленин шлет телеграмму за телеграммой всем продовольственным отрядам, сообщает, что в Москве нет хлеба. Но как доставить хлеб из Харькова? Нет паровозов. На путях стоят мертвые эшелоны.

Артем принимает единственно правильное, но, казалось, совершенно невыполнимое решение. На паровозостроительном заводе, где его знает каждый рабочий, стоят двенадцать новых паровозов. Это мощные локомотивы. Если удастся взять их, хлеб будет отправлен в Москву. Артем мчится на паровозостроительный, чтобы поднять рабочих, ио тут происходит непредвиденное. Как только Артем появляется на заводе, его арестовывают меньшевики: они за последние часы стали здесь хозяевами положения, ввели сюда вооруженные отряды своих стороиников.

Что делать? Надо выиграть время, хотя бы один час, и тогда, может быть, удастся вывезти хлеб. Перед уходом на паровозостроительный Артем приказал командиру красногвардейского отряда:

— Если через час не дам о себе знать нарочным,— рысью веди отряд на завод.

Теперь надо выиграть этот час. Один час жизни. В коиторку, куда втолкнули Артема, доносятся крики. Неужели пришли красногвардейцы? Нет, это не они. Часовой говорит Артему, что на завод ворвался отряд анархистов. Сейчас иачнется кутерьма. Анархисты ищут Артема, могут и к стенке поставить. Остается двадцать пять минут. Артем решает начать переговоры — быть может, удастся отыграть у смерти время до подхода отряда.

Под дулами винтовок Артема ведут в цех. Там обманутые солдаты и анархисты. Будь здесь рабочие, они все повернули бы по-другому. Но вокруг враждебные, настороженные лица. Артем начинает говорить. Мертвая тишина, страшная тишина. И вдруг — крики; они нарастают, как гром. В цех врываются рабочие-красногвардейцы со штыками наперевес...

Вечером со станции Харьков один за другим, не оглашая окрестности гудками, эшелоны отошли на Москву. На последней, хвостовой платформе, ощетинившейся пулеметами, из Харькова ушел Артем.

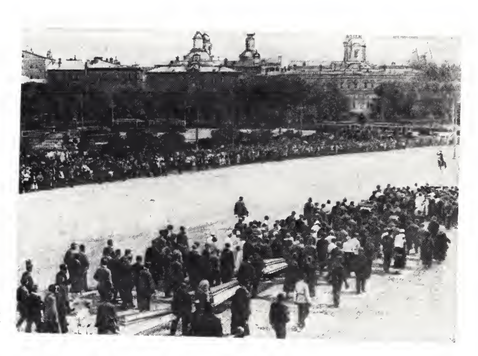
...После изгнания кайзеровских войск, разгрома Деникина и Петлюры Артема послали восстанавливать Донбасс. Его энергия, талант, опыт, умение поднять массы очень нужны народу, стране, партии большевиков. Вокруг Артема все кипело, бурлило, он заражал энергией, оптимизмом, верой в победу.

Австралия наложила отпечаток на его привычки и на его речь: иногда ои перемежал русские слова с английскими и, спохватившись, заразительно хохотал, хлопал по спине товарища: «Извини, друг, забылся!» Все, кто был рядом, поддавались его обаянию. Близкие друзья называли его «австралийский янки» или «янки из Брисбена». Он отшучивался: «Янки из Фатежского уезда Курской губернии».

...Подоспело новое задание партии. Под огнем Царицын. Там хлеб. Надо помочь отбить врага и направить эшелоны в Москву, Петроград, голодные губернии России.

Как же пробиться туда? Под Прикумском сплошная линия фронта. Надо идти через Прикумские степи. Артем ведет туда отряд красногвардейцев, но и здесь уже сплошная линия фронта. На броневике, осыпаемом градом пуль и снарядов, отряд Артема прорывается в Царицын. Здесь Артем организует производство оружия для Красной Армии, участвует в обороне города.

...В январе 1921 года в Баку был издан сборник, посвященный трехлетней годовщине бакинского комсомола. В этом сборнике есть и небольшая статья Артема «Былое». Он рассказывает, как в 1919 году, вме-



Москва. Июль 1921 года. Похороны Артема и других жертв железнодорожной катастрофы.

сте с руководителямн бакинского комсомола Борнсом Бархашовым, Иваном Кравцовым и Ольгой Шатуновской он действовал в условиях меньшевистской Грузии, куда тайно прибыл по поручеиию ЦК РКП (б). В условиях иностранной интервенции и местной контрреволюции Артему и его товарищам удалось тогда выполннть важнейшее задаиие партии — отправить из Баку нефть в Москву.

В те годы судьба революцин зависела от решения продовольственного вопроса. Артема направляют в Башкирию. Сохранились пнсьма, посланные нм другу нз Уфы в Москву: «Мы должны,— писал Артем,— изолнровать кулака, заставить выступить его в одиночку и задушнть его силами... башкирской бедноты. Без зтого ни наша хозяйственная, ни наша продовольственная политика здесь не наладится».

Столкнувшись в Башкирии с фактами бюрократизма и приспособленчества некоторых местных работников, он высказал в письме своему другу мысли, его глубоко волновавшие: «Ты знаешь, я уступчив в том, что считаю мелочамн. Но в вопросах принципиальных я не зиаю терпимости. Я не способен зарезать курицу или застрелнть зайца (как я доказал себе на охоте)... Мне было бы неизмеримо трудно в порядке красного террора отправить путем подписи моего имени белогвардейца, незаговорщика, на тот свет. Но... авантюрнста и шкурника,— извините».

...Окончилась гражданская война. Артем снова в Доибассе. В Луганске, Юзовке, других шахтерских городах его знает каждый горняк, каждый мальчишка в рабочнх поселках.

В 1920 году Центральный Комитет партии отозвал Артема в Москву, его избрали председателем ЦК Всероссийского Союза гориорабочих.

...Чудовищный, нелепый случай оборвал жизнь Артема. Вот как это произошло.

В июле 1921 года в Москве состоялся Конгресс Профинтерна, иа который прибыли зарубежные делегации горнорабочих. Артем решил показать гостям Подмосковный угольный бассейи, познакомить их с жизнью и бытом русских горняков. Для поездки Артем воспользовался азромотовагоном, который нзобрел и вел русскнй техник Абаковскпй.

В Подмосковном бассейне делегация пробыла два дня, осмотрела шахты, побывала в гостях у рабочих, на торжественных вечерах и 24 нюля выехала в Москву.

Вагои, ускоряя бег, мчался к столице. В 6 часов 35 мииут в ста километрах от Москвы азромотовагон, шедший со скоростью 80 километров, наскочил на камень, лежавший иа рельсах, пошел под откос и превратился в груду искореженного металла. Погнбли Артем, делегаты Конгресса Профиитериа англичанин Гейвуд, немцы Гейбрах и Опарт, болгарии Константинов, скончался тяжело ранеиный австриец Фриман. Погиб и Абаковский.

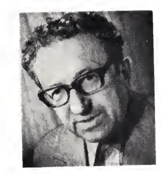
Скорбным набатом прозвучала по всей страие весть о гнбели Артема. Исполком Коммунистического Интернационала, Цеитральный Комитет РКП(б), Московскнй Комитет партии, Всероссийский Цеитральный Совет профсоюзов сообщили народу о гибели старого большевика Федора Андреевича Артема-Сергеева (этому старому большевику было тридцать восемь лет). Некрологи чернели во всех газетах. «Известия» писали: «Погнб Артем. Ушел молодой, как юноша, полный кипучей энергии, боец с веселыми, вечно улыбающимися глазами, с жизнерадостной верой в свой класс и в лучезарное будущее коммуиизма».

В последний путь на Красную площадь Артема провожали члены Исполкома Коммунистического Интернационала и члены Центрального Комитета большевистской партии, вся пролетарская Москва, делегации рабочих Петрограда, Украины, Донбасса, Урала, делегаты Всемирного конгресса профсоюзов и в их числе рабочие-делегаты из Австралии. Приехал из Рузаевки и «Сашка-колбасник», теперь уже Александр Петрович, участник борьбы протнв белогвардейцев и интервентов. Он затерялся в толпе и молча утирал слезы.

Тысячные колонны запрудили Большую Дмитровку, Тверскую, набережную Москвы-реки. И стояли люди с непокрытыми головами, молча прощаясь с человеком, которого трудовой народ иазывал «апостолом рабочего дела России».

Лев Озеров





✪

С далеких детских лет мечталось мне
Полезным быть товарищам, стране,

Железным быть и ко всему готовым,
Не модным быть хотелось мне, а новым,

Еще невиданным, как первый миг,
Что наступил за выстрелом «Авроры»,

Когда смогли мы с места сдвинуть горы,
Когда мы превзошли себя самих.

Василию Казину

Бывал я молодые годы
В шумливых мастерских весны.
Травой поросший двор завода,
Булыжники, что валуны.

Струится за ворота змейка,
Горячим серебром маня.
Из зрелости узкоколейка
В дни юности зовет меня.

Зовет к началу, к давним срокам,
Где юноша стоит смышлен,
И молотком по водостокам
Стучит, как громовержец, он.

Железо слышу, сердце слышу,
Послушное его строке.
Он кровельщик, он ладит крышу,
Он видит зори вдалеке.

Простор шестидесятилетья
Открыт ему с его высот,
И он, презревший междометья,
Глаголом юности поет.

Василий Казин! Это имя
Стоит в ямбическом строю,
И даже звуками своими
Венчает молодость мою.

В доме-музее

Что думал, как настроен был поэт,
Как он встречал закаты и рассветы,
Навряд ли объяснит нам табурет,
Или чернильница, или штиблеты.

Зато письмо — на нем еще сургуч,
Что кровь залекшаяся на кинжале,—
Расскажет, как тяжел был и горюч
Последний взгляд, исполненный печали.

✪

Где-то здесь, недалече,
Море болгарской речи,
Гудящее испокон,
Взрывающееся глаголом,
В беге своем тяжелом
Раздвигающее небосклон.
Речи болгарской море,
Рожденное на просторе,
Открытое до глубины.
Звуки его громогласно
Звучат мятежно и ясно
Музыкой быстрины.

Болгарской чеканки слово,
Болгарской закалки слово
Звучит несказанно нежно,
Звучит несказанно сурово.
Как будто бы слышу заново
Слышанное давно.
Ботева и Дебелянова
Слово озарено.
Звучит по-гайдуцки сказово
Рвущаяся в века
Яворова и Вазова
Кованая строка.

Последний вечер в Тырново

Ночное Тырново—вертящаяся люстра,
Холмы, подвешенные к небесам.
Какая темь! Как вызвездило густо!
Как ветер прилипает к волосам!

А мост высок, и темные глубины
Реки поблескивают далеко.
А ивы гнут умаянные спины,
И на обрывах дышится легко.

Ты весь наклонный, скальный и отвесный,
Подобье ласточкиного гнезда.
Стесненный, и стремительный, и тесный,
Под звездами и сам ты, как звезда.

Вертись, ночное Тырново, и царствуй
Над плоскостью, над пошлостью,
над тьмой.
Я не прощаюсь. Здравствуй, город,
здравствуй!
Я в сердце увезу тебя домой.

И в некий час с непреходящим чувством
Возобновится этой ночи мгла,
И города вертящаяся люстра,
И звезды, горы, люди без числа.